

Константин Николаевич Леонтьев

Хризо

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

Хризо[1]

повесть из критской жизни

*От Георгия Николаидиса
к Александру Петровичу Б-ну
(в Москву)*

Корфу, декабря 10-го 1864 года.

Пароход наш пробудет здесь четыре часа. Я успею тебе написать отсюда. Давно ли это? Боже мой! Всего пять-шесть дней... Снега московские, Иван Великий, ваши санки, которые я так люблю, бедная Машенька. (Помнишь, как она мне говорила: «Какой же вы барин? Вы разве барин, — вы грек».) Потом Петербург; за Петербургом прусские поля, зелень, чуть покрытая морозом; немки, немцы; Бреславль и его древний собор; ночью в Вене — пуховое одеяло, слуги, которые, по правде сказать, больше похожи на секретарей посольства, чем на слуг; Св. Стефан, Триест... Русское все исчезло... Нет, виноват, не все... Под самой Веной, ночью, какой-то бедняк принял мои вещи в вагон, и когда я дал ему

Флорин, он схватился за ручку дверцы и спросил:

— Захватить вас, пане?

Откуда этот малоросс?..

Только здесь, в Корфу, я как будто приблизился снова к России... Лимонные деревья и розы в цвету, оливы, мои родные оливы, зеленее, чем летом. На улицах нельзя ходить в пальто... Ты скажешь: где ж Россия?

Где она? Когда я сошел с парохода, старик-лоцман, наш же грек, сказал мне:

— Зайдем вместе к Св. Спиридону и поклонимся мощам его, чтоб он нам до Сиры море хорошее дал...

Мы помолились, и тут я, на другом конце земли, посреди роз и лимонов, глядя на священников и на серебряную раку, почувствовал себя еще роднее русским, чем был в Москве... Ты смеешься, я знаю. Мне, конечно, не переделать тебя; но грек никогда таким материалистом не сделается, каким бывает русский студент. Я, впрочем, уверен, что и ты переменишься.

Ну, прощай. До самой Кандии не возьму уже пера в руки.

Прощай, мой добрый, мой верный друг,
тысячу раз обнимаю тебя.

Твой Ник—с.

Января 25-го 1865 г., Халеппа.

Здравствуй, здравствуй, милый мой! Вот уже около месяца, как я на родине; всех увидел: отца, мать, брата и сестру, старых соседей и родных. Я долго не писал... Но, если бы ты знал, как здесь приятна лень! Что за край моя родина! Что за милый край! Как бы мне назвать мой божественный остров? Райский угол? Сад садов? Краса морей? Нет! Я назову его корзиной цветов на грозных волнах моря. Когда бы ты видел, что такое здешний грек! Как чисто его жилище, какая наша Халеппа веселая! У моря дома все белые, чистые, вместо крыш террасы, все в зелени. Тут лимоны и померанцы цветут, как снегом осыпаны; и чтобы ты знал, что это не театр, а сама жизнь, на ветках сушится простое, бедное белье... Но что я тебе скажу еще? Говорить много нет сил.

Представь себе только небо синее, море бурное, вдали снег алмазный на горах, как на

московских полях, а над головой как жар горит, все в розовых цветах, наше старое персиковое дерево... Под оливами барашки гуляют и звенят бубенчиками!..

Довольно! Нет ни силы, ни охоты... Прощай. Ах, моя родина! Ах, мой Крит драгоценный! И как милы здесь девушки! и семья наша какая добрая, почтенная! Прощай!

Твой Ник—с.

10-го февраля.

Ты пишешь, что понимаешь мою любовь к родине. Неужели? Я, признаюсь, этого не ждал. Я вас, русских, не понимаю. Помнишь, когда наши товарищи студенты-поляки хвастали, как повстанцы бьют русское войско и как вешают русских, вы все молчали; я один вступился за вас, за вашу честь, и вы же смеялись надо мною и говорили: «Кто ж нынче говорит о патриотизме!» Да, может быть, с тех пор и вы переменялись!.. Ты просишь также, чтобы мои письма были длиннее и подробнее; просишь картин общественной жизни в Крите. Общественной жизни, мой друг, здесь нет; а есть дивная... народная жизнь; о

ней я тебе буду писать с радостью. А пока я скажу тебе, что представился вашему консулу и познакомился с здешним русским секретарем. Консул, пожилой и чрезвычайно умный человек, принял меня прекрасно и приглашал обедать почаще; а секретарь ваш — твой контраст. Такого иступленного славянофила я еще и не видал. Он православный, с немецкою фамилией — Розенцвейг. Он ненавидит свое имя и на дружеских письмах подписывается «Разноцветов». У него чахотка, и он, бедный, едва ли долго проживет. Он это понимает сам и благодарит Бога за то, что ему придется умереть в таком прекрасном месте, как Крит.

Так ненавидеть все европейское, как ненавидит Розенцвейг, по-моему, даже странно. Я еще не могу понять его. Он говорит, например, что если б у него была дочь, то он ее охотнее отдал бы замуж за молодого критского крестьянина, чем за богатого образованного европейца. Особенно французов не любит. Это не политическая вражда, а какой-то философский фанатизм! «Французская нация — это рак Европы!» — вот его слова. Я этого не

понимаю. Французы, по-моему, благородны, они любят сами независимость и готовы помочь всем угнетенным народам. Розенцвейг говорит: «Что мне до этого за дело? Я бы и свободы из французских рук не принял!»

Спорить с ним я боюсь, потому что у него тогда начинается сильный кашель.

Право не знаю, что тебе сказать. Не потому не знаю, что нечего, а потому, что очень много материала. С чего начать? Описать ли тебе нашу семью, отца, мать, мою милую сестру и братьев? Рассказать ли тебе, как приехал, кого я первого встретил? Или описать здешнее «la société», и какие делал я визиты здешним иностранцам, и сколько раз слышал вопросы: «Как вы нашли вашу родину?» Или объяснить тебе, в каком положении Крит с политической точки зрения? Или описать тебе наши прогулки с Розенцвейгом по берегу моря и наши рассуждения? Для меня, по крайней мере, все это так занимательно, так ново, что я готов бы писать целые тетради, как я шел от пристани через гору домой, и какого цвета была земля на тропинке между травой, и сколько окон у нас в доме, и как взглянул Розен-

цвейг, когда я сказал о французах то-то и то-то... Готов описать и суды турецкие, и нравы наших греков, и наружность моей милой сестры...

Не знаю, что предпочесть!

Начну хоть с сестры. Когда бы ты знал, как она очаровательна! Впрочем, нет: Розенцвейг от нее в восторге; но тебе бы она не понравилась; она слишком *не развита*, сказал бы ты. Пусть так!

Описать тебе ее я не могу. Что я скажу: ей еще нет шестнадцати лет; зовут ее «Хризо», и это значит по-гречески золото; она предобрая, так обо мне заботится и сама

мне стелет каждый вечер постель; сама подает мне кофе и варенье, зовет меня «Йоргаки», песни поет премоило.

Лучше всего я переведу тебе одну песенку, которую она поет и которая к ней самой так идет, как будто про нее сочинена.

Внизу, в саду у моря, У морского берега, Живет девушка, которую я люблю. Она белокурая и черноокая, Белокурая она и черноокая. И ей всего двенадцать лет, Ей уже двенадцать лет, а свет дневной ее не видал еще.

*Только мать ее знает,
Мать ее знает и зовет: «Моя гвоздичка!»
Моя гвоздичка, корешок мой гвоздичный,
Где, гвоздичка моя, теперь благоухаешь?*

Розенцвейг заставляет сестру мою беспрестанно петь эту песню, все хвалит ее. Я было сказал ему раз:

— Жаль, что мать не согласилась отправить ее в Сиру на воспитание, отец хотел.

Розенцвейг рассердился и сказал:

— Полноте, что за предрассудок! Неужели учить по моде? она и так прелесть!

Что она наивна, это правда. Я подарил ей стереоскоп и недавно объяснял ей картинки; ей понравилась особенно одна, не знаю уж кто — немка или француженка в деревенской одежде, в коротком платье, — собирает, стоя на лестнице, виноград. Она похвалила и, обращаясь к Розенцвейгу, который тоже тут был, сказала так серьезно:

— Какие у этих немок ноги красивые и толстые!

Я засмеялся, а Розенцвейг встал в восторге и воскликнул:

— Вот и толкуйте о ваших Афинах, о вашей Сире! Была бы она там, так вы бы этого от нее не слыхали.

Я нарочно, чтобы подразнить его немного, сказал было раз:

— Однако петербургская девица или дама не ей чета!

— Какая дама! — говорит, — я в Петербурге знал одну даму, Лизавету Гавриловну Бешметову; так она сама себя звала: *женщина-человек*, все искала обмена идей, а чтобы подать пример умеренности, носила все одно и то же платье из люстрина, цвета гусяного помета. И вы думаете, что я предпочту ее вашей сестре?

Я ожидал от него чего-нибудь подобного: я начинаю привыкать к нему и любить его.

И все наши халеппские греки его любят; между ними он очень популярен. Все они хвалят его и кончают свои похвалы одним и тем же.

— Одно слово, русский человек, хороший человек, православный человек! Жаль только, что больной такой.

Впрочем, ты не думай, что он какой-нибудь вялый или, робкий. Нет, он молодец. Во-первых, он лихо ездит верхом. Вот тебе пример. К нашему дому прямой дороги снизу нет; да и вся деревня идет вниз — вверх, вверх—вниз, по горе и скалам. К нашему дому надо подъезжать или сверху или снизу, слезать с лошади и потом уж к воротам сходиться по каменной лестнице. На днях Розенцвейг был у нас и привязал лошадь внизу; когда пришло время ему ехать, я велел меньшому брату подвести ему лошадь, а брат большой хитрец и шалун; он нарочно взвел лошадь прямо к воротам наверх. Розенцвейг вышел, посмотрел вниз; пятнадцать крупных скользких ступеней. Ничего не сказал, сел и стал спускаться. Лошадь у него молодая, пугливая, скользит, ржет...

У меня сердце замерло, мать моя покачала головой и отвернулась; сестра тоже испугалась, отец был недоволен и начал бранить брата. Только старый дядя мой Яни, сказал:

— Ничего! Он знает. Русский человек!

Не довольно ли? Кажется, ты не можешь пожаловаться, что письмо мое коротко? Про-

цай, будь здоров и не забывай любящего тебя
Г. Н—са.

1 марта 1865 года.

Ты спрашиваешь, что же это такое Халеппа, Халеппа, Халепша? А где она, ты не знаешь. Это правда, виноват; мне показалось, что весь мир должен знать мою бесценную Халеппу!

Халепша — это деревня, в получасе ходьбы от города Канеи. А город Канея, это наш критский Петербург. Есть у нас и Москва — Ираклион, или Кандия, которую зовут также Мегало-Кастро. Ты, я думаю, читал (а вероятнее, что нет; ты все «Крафт-унд-Штофф» читаешь), что Кандию турки осаждали 25 лет и что под стенами ее погиб герцог де-Бофор, которого во время Фронды звали «le roi de la Halle» и который был так популярен между парижскою чернью.

Ираклион — наша древняя столица, в ней живет митрополит всего острова; там религиозное чувство сильнее; там и турки страшнее фанатизмом. А Канея — это Европа; здесь светская власть — паша, который говорит по-

французски; здесь веют консульские флаги всех держав, здесь «la colonie européenne»; горсть купцов средней руки, докторов, шкиперов европейских, чиновников. Канея — наш Петербург, «рак Крита», по Розенцвейгу.

Не знаю, право, рак ли это, и съест ли он нашу национальную физиономию; но знаю только, что город грязен и душен, заперт в крепости, тесен, скучен. Но и в нем, если хочешь, есть своя поэзия; он напоминает описания и картины средних веков: узкие улицы, которые еще недавно (при Вели-паше), чуть-чуть не обагрились кровью... Экипажей нет; толпы пешеходов и верховых; все тяжести возят на мулах и ослах; одежды пестрые, речи шумные, лавки плохи. По захождении солнца ворота крепости запирают, и уж ни в город не пустят, ни из города не выпустят никого, конечно, кроме консулов и чиновников консульства, но и для тех отпирают такую маленькую калитку, что в нее и среднего роста человек проходит с большим трудом.

Я в Канею почти никогда не хожу. «La société» терпеть не могу; иностранцы здешние так самоуверенны, так гордо смотрят на

турок и на греков, так презирают все восточное, а сами так пусты, суетны и алчны, что даже и не смешны; они даже и в злую комедию не годятся, в них ничего резкого нет. По желанию матери и по совету консула, я почти всем им сделал визиты: никто почти не заплатил мне их. С какой стати пожилым и образованным членам «de la colonie eugoréenne» платить визит Йоргаки Николаидису, сыну лавочника, который торгует маслинами и мукой и носит шальвары и феску! А они не лавочники? Мой отец не им чета! Он бился с турками еще отроком, и на груди его один шрам благороднее их самодовольных лиц! Но то мой отец, а они европейцы! Они говорят по-французски; они книги торговые ведут по всем правилам бухгалтерии; они не носят фески и дорогих шальвар, как мой отец, а старые протертые сюртуки и панталоны... Моя сестра не умеет танцевать польку, а их дочери умеют. И когда бы ты видел, как они все дурны собой! Нет, прав мой бедный Розенцвейг. Я становлюсь его адептом и начинаю ненавидеть Запад.

Прощай! И писать больше не буду, пока не

получу ответа, что ты согласен со мной!..

Твой Г. Н—с.

5-го апреля.

Я очень рад, что ты со мной согласен, хотя Розенцвейг, которому я показывал твое письмо, говорит, что у тебя на уме *другое*, а у нас *другое*. Ты говоришь, что западная буржуазия отживает свой век, и что у русских потому есть великая мировая будущность, что только в их среде могут развиваться какие-то новые люди, чуждые всего того, что теснит европейцев. Ты прибавляешь также, что будущность России в высшей степени космополитическая.

Что мне с вами делать? Ты одно, а добрый мой Разноцветов другое!

Много мне писать тебе некогда сегодня, я хотел только сдержать слово. Мы все сейчас едем в сады Серсепильи к двоюродному дяде моему Рустем-эффенди. Уж сын его Хафуз, мой любимый товарищ детства, привел для меня сам лихого коня, а для милой сестры моей — такого чистого, красивого и смиренного осла, что просто игрушка... Все мы едем: отец, мать,

брatья, сестра, Хафуз и Розенцвейг с нами... И даже она... А! Вот еще на радость твоему космополитизму: она — еврейка, невестка банкира Самуила Нардеа. Радуйся же: сам я грек, дядя мой турок, у меня здесь два друга — один русский, другой турок, а предмет любви — роза Палестины...

Вот тебе «la sainte alliance des peuples!» Прощай, ослы наши кричат, и сестра уже зовет меня: «Йоргаки! Йоргаки! Мадам Нардеа пришла!» Вот счастье-то! Прощай.

Твой Г. Н—с.

16-го апреля.

Кто ж она? И как я полюбил ее? И как это возможно, чтоб у элина был дядя турок? И с какой стати его сын Хафуз мне друг? И что такое Серсепилья?

Не знаю, достанет ли у тебя сил читать все это; но я берусь тебе все объяснить подробно.

Что такое Серсепилья? Это рай земной! Когда мы выходим с Розенцвейгом гулять, мы всегда сядем на горе за Халеппой и глядим на эти дальние оливковые роци. Но что я скажу о них? Какие слова передадут тебе поэзию

этого леса древних олив, деревень полуразрушенных и полудиких, стен, покрытых плесенью, цветов, которые ползут по стенам или ниспадают с террас?.. Издали картина величава и таинственна: над морем широких олив столбами возносятся тополи, белеют там и сям башни, стены больших зданий, и стелется дым из незримых, убогих очагов... О, друг мой! Как прекрасна моя родина! Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой одежде идет по тихой сельской улице гордою поступью! Как мила, как опрятна, как свободна в обращении и как чиста нравом наша девушка! Как величав, строг и прекрасен наш простой старик в высокой феске и седых усах! Слушай, друг мой: всякий любит свою родину сердцем... Но счастлив тот, кто может сказать, за что он любит ее! О, если бы в этой дивной стране, у этого прекрасного народа, были достойные вожди! Но их нет пока... и не знаем, откуда их ждать. И не думай, что я увлекаюсь только телесною красотой моих критян или храбростью их, или поэзией простого быта в живописной стране... Поверь мне, что нет. Мои греки без силы, без вождей,

без помощи ждут освобождения и дождутся его. В глухих деревнях, в горах, до того неприступных, что мул, не рожденный в них, не смеет ступить на их стремнины, — и там эти красавцы и бандиты, которых рука так легко хватается за нож, и там они спешат учиться; и там заводят школы, выписывают учителей из Греции, похищают их ночью с оружием в руках, когда турки пытаются прервать эту связь со свободными Афинами. О, мой милый, русский друг! Люби моих братьев, критян; если ты холоден к поэзии и красоте и не в силах их любить, как Розенцвейг, за красоту и за высокое сочетание изящного и сурового в их чудной жизни, то люби их за гордые, свободолюбивые чувства, за пожирающий их сердца пламень независимости.

Твой Г. Н—с.

20-го апреля.

Итак, я не сдержал обещания, я не сказал тебе еще ни о первой моей встрече с *ней*, ни о Рустем-эффенди, ни о Хафузе. Если бы ты знал здешнюю жизнь так, как я знаю русскую, так мне было бы легко рассказывать тебе просто,

что случилось со мной и с моими близкими. Но вы, русские, разве вы знаете, как живут здесь люди? Вы знаете последний переулок в Париже, но что делают греки, как живут они, и почему живут они так, а не иначе, что вам за дело! А народ наш любит вас и чтит ваше правительство. Только для вашего консула стоит в нашей халепской скромной церкви кресло, обитое красным сукном; только к нему идут люди с поздравлением в праздники; только за вас нашего доброго сельского священника, отца Анатолия, во время Крымской войны заключили турки в тюрьму. За вас, за победу вашему оружию он громко молился в церкви... Только на ваш флаг с любовью и надеждой смотрит, вздыхая, мой отец... Только ваше имя с любовью произносится в самых диких ущельях гор, и, садясь за стол вашего чиновника, наш гордый островитянин шепчет, крестясь: «Вот в первый раз пришлось мне сесть за истинно-православную трапезу!»

Да, правда, и наши греки вас не знают, ни пороков, ни высоких ваших свойств не изучили, как бы должно. Но они верят в вашу силу,

они любят вас, и старое добро ими не забыто. Прости же мне, что я все прерываю мой рассказ, прости моим беспорядочным порывам. Когда сердце полно, как совладеть с ним, добрый друг?.. Опять брошу письмо и начну его тогда, когда успокоюсь...

22-го апреля.

Довольно! Теперь я не скажу ни слова о моей родине. Я сейчас только вернулся от нее... Ее зовут Ревекка. Когда бы ты знал, какие у ней золотые волосы и как она сама бела и стройна! Она выросла в Константинополе, говорит хорошо по-гречески, читает Шиллера и по-турецки знает. И какая она хитрая и ловкая... Как она вьется передо мной, словно змейка, и скользит из рук! Я без ума от нее! Мужа ее нет; он торгует в Англии и приезжает сюда раз года в два, в три. Она живет у старика, своего свекра. Старик и

жена его смотрят за ней очень строго; однако с тех пор как они на лето переехали в Халеппу и наняли дом близко от нас, я нахожу средство видеться с ней часто. Я чувствую, что нравлюсь ей, но она ужасно лукава и так

тонко и ловко защищается, что даже трудно выразить эту летучую игру слов, это движение взглядов! Например, она говорит мне на днях: «Я не люблю греков». — За что? — «Они такие сердитые; я боюсь их». И смотрит мне невинно прямо в глаза, как будто я не грек. А потом начнет хвалить брюнетов и говорить: «Какие здесь, в Крите, мальчики все хорошие. Черноглазые такие, щеки розовые, лица нежные; вот и ваш младший брат какой красивый!» А младший брат, все говорят, на меня похож. На днях она рассердилась на меня за то, что я дал на Пасху нашим халепским детям денег и старый сюртук мой, *чтобы жечь жида...* Как жечь жида? (Ты в ужасе! вот и опять отступление; чем же я виноват?) Наши дети на Пасху, в самую ночь под Светлое Христово Воскресенье, делают из соломы большую куклу на церковном дворе, надевают на нее шляпу и старое еврейское платье, стреляют в нее из пистолетов, и кукла загорается. Хохот, радость и шум такие, что заглушают на миг церковное пение. И ко мне пришли дети и просили «на жида». Я дал им 5 руб. Ревекка узнала об этом, начала меня упрекать и

бранить греков варварами и фанатиками. Я смеялся, и она, наконец, так рассердилась, что ушла с террасы и целую неделю не показывалась. Вчера я шел мимо их дома, она сидела за калиткой, в тени, вместе с свекровью, и работала. Я даже обрадовался, что она не одна. При свекрови она не покажет, что дружба наша уже доходит и до ссор! Я поклонился, и она поклонилась. Я сел и спросил, как ее здоровье. Она говорит:

— Дурно; ваш Крит такой вредный. От южного ветра голова все болит. И скука! Константинополь — вот это город. А здесь что?

Я говорю ей:

— Если угодно, мы для вас и Константинополь возьмем. Только не сердитесь.

— Если, — говорит она, — ваши греки возьмут Константинополь, так я туда никогда не поеду! Турки гораздо лучше вас...

Старуха тоже вмешалась и говорит:

— Нет, зачем же так хулить греков? И греки хорошие люди; правда, что уж если турок добрый родится, так уж лучше доброго турка нет человека на свете!

— А стихи какие у них хорошие есть, и пес-

ни, и поговорки, — говорит Ревекка. — А у вас что? Все *поли-кало* и *поли-кало*. Вот у меня есть одна поговорка турецкая... (и она достала из кармана записку и подала мне). Прочтите...

Я читаю и вижу, что турецкие слова написаны латинскими буквами:

«Гель, кузум, баришелйм; хер кабат бендедер. Некадар кабат сендеольсун, гене гёзюм бендедер!»

Ни старуха, ни я по-турецки не знали, и Ревекка сперва прочла записку громко, с большим выражением, а потом перевела ее:

«Поди сюда, помиримся, мой ягненочек; вся вина моя. А если бы вина была и твоя, все-таки ты очи главы моей!»

— Прекрасно! Прекрасные слова! — сказала старуха.

А я от радости сам не свой; ответил, однако, с презрением, что ничего особенно хорошего в этих словах не вижу и, как будто раздосадованный, встал и простился. Старуха говорит:

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Ревекка это шутит.

А я говорю:

— Нет, мадам Нардеа всегда бранит моих соотечественников и хвалит турок. Я вижу, что она греков ненавидит!

А сам взял записку и домой пришел такой веселый, до поздней ночи все мне хотелось петь и играть с сестрой и братом.

Прощай. О Рустем-эффенди и о Хафузе в другой раз.

23-го апреля.

Это письмо не кончится, кажется, во веки веков. Рустем-эффенди и Хафуз насильно рвутся в него. Сегодня Хафуз прискакал к нам из Серсепильи весь бледный и дрожащим голосом вызвал моего отца в другую комнату. Долго шептались они, потом отец велел оседлать свою лошадь, и они уехали вместе. Мы все напугались; сестра стала плакать; наконец пришел мой младший брат Маноли и сказал, что Рустем-эффенди хотят за долги посадить в тюрьму, что корабль его с маслинами и другими товарами потонул, и заплатить нечем. А долгу больше 20 000 пиастров (это на ваши деньги немного побольше 1000 руб. сер.).

Отец ночевал у Рустема, вернулся рано утром и сказал мне:

— Слушай, Йоргаки, вот тебе 15 000 пиастров, сходи к Самуилу, возьми у него на два месяца еще 5000; вот тебе и расписка моя ему. А от Самуила поезжай прямо к дяде Рустему и отдай ему деньги. Да не забудь, много-много поклонов ему от меня. А я усну немного.

Я спросил:

— А расписки с него не надо?

— Что за расписка с Рустем-эффенди! — сказал отец.

Вот какие друзья мой отец и Рустем-эффенди! Когда еще в 21 году было в Крите восстание, отец был в горах с восставшими греками, а Рустем-эффенди тогда еще был молод и жил с женой (у критских турок всегда одна жена), с матерью и двумя сестрами в Рефимно и торговал спокойно. С инсургентами дрались войска, и Рустема, как одинокого мужчину в большой семье, не взяли в солдаты. Пришлось раз в горах нашим терпеть тяжкую нужду и голод. Стали думать, что бы и где бы достать? Мой отец видит, что достать негде и что пропадут «христианские души» с голоду,

или что придется поклониться паше и положить оружие; помолился он и пошел ночью в загородный дом Рустема. Стучится — не открывают; громко стучать опасно: не услышали бы соседи-турки. Помолился еще раз мой отец и полез на стенку. Подняли собаки лай.

— Кто там? кто там? — закричали женщины. Рустем отворил окно и курок взвел.

— Кто там? Отец сказал:

— Я.

— Да кто ты? Я тебя вижу и выстрелю; ты скажи имя, — спрашивает Рустем-эффенди.

Отец сказал свое имя.

— А! Милости просим! Огня, огня! Да потише, чтобы соседи не слышали.

Накормили, обогрели отца; навьючили ему на мула хлеба, сыру, табаку дали и отпустили, а Рустем-эффенди сказал ему на дорогу:

— Да спасет себя Бог, несчастный!

Только тетка-старуха, мать Рустема, вышла к отцу и долго ругала его и всех греков; проклинала и веру нашу, и нас самих, и всех гяуров, только все по-гречески и *тихо*, чтобы соседи не услышали.

Вот с тех пор и дружба их. У Рустема-эффенди один только сын, тот Хафуз, о котором я уже писал. Такой он славный малый и молодец! Конечно, как и все здесь, человек простой, по-французски не знает, платья европейского не носит. Но по-восточному он довольно образован: по-турецки учился, что здесь очень редко, и по-арабски читает хорошо. Между турками он слывет за ученого юношу. Мы с ним в детстве были самыми душевными друзьями; без Йоргаки Хафуз не хотел играть и без Хафуза Йоргаки. Первое наше удовольствие было босиком, засучив шаровары, морских ежей ловить в море, около камней; разрежем их и едим.

Только раз мы поссорились, и то я был виноват.

У меня была страсть камнями в других детей бросать. Сколько раз меня за это бил отец, привязывал руками к столбу и чубуком бил по пальцам, а все я не исправлялся. Раз я говорю Хафузу:

— Стань подальше, Хафуз, я в тебя камнем брошу.

— Не бросишь, — говорит Хафуз, — не сме-

ешь. Я отцу скажу.

— Я твоего отца не боюсь; у меня тоже отец есть. Паликар! Скольких турок избил на войне!

— Твой отец гяур, а мой — Рустем-эффенди.

Я как швырну в него камнем и прошиб ему голову. Потекла кровь; Хафуз побежал домой с плачем, а я, чуть живой от страха, тоже домой бегу и спрятался в кладовой, где уголь клали. Слышу, ищут меня, отец кричит:

— Где этот негодяй! Постой-ка, я его палками вздую так, что и руки прочь отшибу!

А мать просит:

— Оставь, оставь, не пугай. Ведь он ребенок. Лучше, дай, я его сама отведу к Рустему-эффенди; пусть попросит прощенья.

— Нет, — говорит отец, — чтоб он был проклят! Чтобы душа его не спаслась!

— Не греши! — говорит мать. — Подумай, каково мне слушать!

Ушел, наконец, отец искать меня у соседей, а я к матери и вышел; она, не сказав ни слова, схватила меня за руку и бегом побежала со мной к Рустему-эффенди другою дорогой, чтоб отец не встретился.

Плачу я, думаю: последний мой час настал!

Пришел. Рустем-эффенди сидит на диване, курит наргиле; суровый такой, печальный, жена его (красавица была) плачет тоже на диване; а Хафуз лежит; головка обвязана, к отцу на колени прилег, отец его обнял. Как вошла моя мать, как увидал меня Хафуз, так сейчас и закричал: «Йоргаки! Йоргаки пришел...» И как захохочет с радости, и язык мне показал.

Мать моя поклонилась низко Рустему и полу платья его поцеловала. Рустем все сурово глядит. Я зарыдал, а Хафуз кинулся ко мне и ну меня целовать: «Йоргаки! говорит, *море* (глупый) Йоргаки! зажила моя головка!» Мать меня толкает, чтоб я поклонился Рустему, а Рустем

говорит мне: «Это, что ты в Хафуза камнем бросил, это тебе большой грех! Хафуз мальчик добрый и тебя очень любит. Пусть тебе Бог простит. А веру нашу ругать да про турок слова скверные говорить, за это знаешь что? Головку с тебя снимут да в Стамбул пошлют и на стену повесят!..»

А Хафуз перепугался: «Не хочу, не хочу! —

кричит, — чтобы голова Йоргаки на стене была! А с кем же я ежей морских пойду завтра ловить?» Тут уже все старшие засмеялись, и Руستم дал мне поцеловать свою руку.

Вот наша единственная в детстве ссора с моим милым Хафузом.

Помнится, я писал тебе в одном из моих первых писем, что встретил его первого из знакомых, когда вышел на берег в Крит. Или нет? Если и повторю, не беда.

Когда я стал спускаться пешком с горы от Суды (это бухта) к нашей Халеппе и сошел уже на дорожку между оливами, слышу, кто-то едет вблизи верхом; мерно стучит лошадь по камням. Посторонился я дать ему дорогу... Вижу, молодой турок. Такой разодетый, оружие за поясом. Конь картина! Увидал меня, остановился, глядим друг на друга... «Кто бы это был?» — думал я. О Хафузе и в мыслях нет; но чувствую, что кто-то знакомый.

Вижу знакомые большие глаза, что-то несказанно-ласковое и доброе в лице, усы чуть пробиваются. Он меня первый узнал, постоял передо мной, засмеялся и говорит: «а ведь это ты, Йоргаки!..» Тут уж и я его узнал.

Если бы ты знал, как я был рад!

Он сошел с лошади и пешком довел меня до нашего дома. С тех пор мы часто видимся. С Хафузом я хожу на охоту, с Розенцвейгом бродим пешком по скалам и судим о жизни и политике; с сестрой я песни пою, с отцом говорю о торговле и войне, с матерью — о святых местах в России, о Кремле и о Киеве, а с братьями — о разных грешных делах молодости... Все это так, но я все-таки не объяснил тебе, как может быть мне дядей Рустем-эффенди? У меня уже рука заболела. Но так и быть!

Не удивляйся, что Рустем-эффенди мне дядя: он двоюродный брат отцу. Вот рядом с нами живет одна старушка-христианка, так у ней старшая дочь — вдова турчанка, а младшие дети все христиане.

Наши критские турки все эллинской крови: деды их изменили вере в начале завоевания. Они и по-турецки не знают, и с нами бы жили как братья, если бы слабое и коварное правительство не старалось ссорить их с нами.

Но есть еще и другие, новые связи.

Во время восстания 1821 года часто и наши брали турчанок в плен, и турки наших жен и дочерей. Грек, если был добр, отпускал мусульманку, если был жесток, убивал ее, но прикоснуться к ней он считал смертным грехом; мусульманин, если хочешь (чтоб угодить твоему былому космополитизму), либеральнее, но потому лишь, что для него женщина не равна мужчине и, как нечто низшее, может быть в его гареме, сохраняя свою веру. Соседка наша, например, была сначала замужем за турком, прижила с ним старшую дочь, а когда война кончилась, она его ' покинула и вышла за грека. Старшая дочь захотела навсегда остаться в вере отца, и никто ее не тревожит. Она была тоже за турком, овдовела, вернулась к матери; вне дома она покрывается, а дома говорит с мужчинами без покрывала, как гречанка, и носит не шальвары, а платье.

Между нашими турками есть прекрасные люди. И когда взглянешь ты на наши добрые отношения и увидишь, как, обедая у нас, иные из них пьют с нами за здоровье короля Георгия, ты удивишься и скажешь: «где ж фанатизм? Где ж источник жалоб и восстаний?»

Да, мой друг, я вернулся на родину в минуту успокоения страстей. Но вот предо мной в глуши долин стоят разоренные деревни и развалины церквей, еще не обновленные со времени того кровавого погрома, когда бездушный Меттерних оторвал нас от свободных братьев. Не все турки, друг мой, похожи на Рустем-эффенди; поверь, искра злобы гнездится и здесь... Вот пред тобой престарелая гречанка, на лице ее, еще хранящем следы красоты, видны глубокие шрамы. Турки привязали ее мужа когда-то к столбу, а ее обесчестили и изрезали ей щеки, чтобы никто уже не любовался ею! Вот камень в горном ущельи; на нем выбито семь крестов: здесь когда-то убиты семь монахов за то, что не успели скоро дать дорогу бею.

Ужасная память еще не вымерла в сердцах!

Конечно, Розенцвейг, вздыхая, говорит: «Ужасно! Но ужаснее ужасного бездушная пошлость! Завоевание есть зло, и турки — варвары, бесспорно; но благодаря их кровавому игу, воздух критской жизни полон высшего лиризма. Счастье горца-грека в цветущей

семье не есть жалкое счастье голландского купца, а лишь благородный отдых юного подвижника!»

Больная мысль больного человека! но в иную минуту и я задумываюсь над ней с странным для меня самого удовольствием.

Вот тебе и этнография, мой строгий друг! Теперь прощай надолго: после такого письма, я думаю, можно и примолкнуть.

Твой Н—с.

20-го мая.

Май здесь хуже вашего, становится слишком жарко. Что тебе сказать нового? Розенцвейгу лучше; он перестает почти вовсе кашлять. Остальное все то же. Отец мой с утра уезжает на муле в город и торгует в лавке. Мать шьет понемногу приданое для сестры. Сестра ей помогает. Братья тоже заняты: старший с отцом в лавке, а меньшей ходит в город, в училище. Все они заняты...

А я начинаю скучать. Без дела быть долго нельзя. А здесь одно дело — восстание. Как бы ни был хорош и способен народ, что может он сделать, когда он прикован к гниющему царь-

градскому трупу!

Что я предприму? Служить туркам? Быть может, и этим путем можно сделать многое для родины, но мне приятнее, чтобы мои руки были чисты. Уехать в Афины?

Афины и без того полны людей, чающих движения воды. Свободная Греция — это малое паровое судно, переполненное парами! Торговать здесь? На это и без меня столько охотников между греками. Торговый дух — это и сила и слабость греков. Думал я стать учителем. Но где? В горы уйти, в даль и глушь? Сознаюсь тебе, нет еще сил, я слишком еще жить хочу...

Здесь в Халеппе можно бы учить детей, не удаляясь от семьи, от Розенцвейга, от вашего консульства, где я провожу такие веселые вечера, где часто, внимая южной буре, от которой рвутся окна вон из рам, мы говорили о северных снегах, о Невском, о Кремле... Здесь и она всегда будет близко, хоть изредка да увижу ее и зимой. Но посуди сам, могу ли я действовать лукаво против нашего старика учителя Стефанаки, который язык знает еще лучше меня, а кроме языка и других первона-

чальных познаний что нужно для здешних людей?.. И бедный Стефанаки такой добрый и честный, и почтенный, и забавный, что действовать против него нет сил, да нет и пользы.

Старик — великий патриот; не проходит дня, чтоб он не сказал, перекрестясь и возведя очи к небу: «Боже мой и Пресвятая Дева! Доживу ли я, чтоб увидеть свободным Иерусалим, святыню православия, и Константинополь, кладезь византийской премудрости!» И между тем он кроток как агнец, и добр с детьми, и жизни в семье примерной, и сердцем до того мягок, что не может слышать слово «кровь». Отец мой нередко рассказывает при нем небылицы и хвалится, что с живого турка кожу снял в 1821 году... Тогда Стефанаки бледнеет, бледнеет и чуть не падает в обморок. И я буду интриговать против такого благородного старика!

Итак, одно есть дело — восстание! Но где средства? Где вожди? Европа спит в равнодушном мире. Россия?..

А здесь все так мирно и спокойно, и ярко, и кротко...

Но скучно, скучно, друг мой, без дела и в самой прелестной стороне!

Твой Н—с.

27-го мая.

Когда бы, по крайней мере, я был уверен, что она меня точно любит! Но я не понимаю, что это за женщина. Встретится со мной в чужом доме или к нам придет, самые лучшие взгляды ее, самые милые улыбки обращаются ко мне. Она не только вежлива со мной при других, она любезна и внимательна. У себя дома, с глазу на глаз, холодна и небрежна! Старуха (представь себе коршуна над добычей!) следит за нами как бдительный шпион, но иногда и она выходит из комнаты. Тогда я бросаюсь к Ревекке, умоляю или поцеловать, или прогнать меня из дома.

— Зачем прогнать? — говорит она с улыбкой, — вы наш хороший знакомый.

— Тогда поцелуйте раз!

— И это лишнее.

Нестерпимо! А то начнет хвалить мне своего мужа. Показывает мне его письма из Манчестера, собирается ехать к нему в Англию;

рассказывает, что она в него очень влюблена.

— Мой муж, мой муж...

Я, наконец, взбесился и сказал:

— Я думаю, ваш муж — ничтожный купец, скупой и скучный, больше ничего!

Она засмеялась и отвечала:

— Нет, он не глуп, а скуп и толст — это правда; я за него вышла по совету матери, потом немного полюбила. Конечно, видишь его каждый день; тогда он был моложе, собой лучше...

— А теперь, — говорю я, — можно бы и меня полюбить.

— Я люблю вас, отчего ж вас не любить? Вы мне зла никакого не сделали...

Ранит таким ответом в самую душу; и тут же елей на рану...

— А! забыла, хотела вам показать одну вещь! И показала мне и перевела стих Гёте:

Я слишком стара, чтобы только шутить...

И слишком юна, чтобы жить без желаний...

А все-таки я достигну того, что желаю. Она будет моя! Вчера я спросил у нее:

— Скажите, отчего вы так холодны? Вы

знаете, как я люблю вас. И вы ко мне не равнодушны: я это вижу. Зачем же медлить моим счастьем?

— У вас кровь горячая, а сердце холодное; а у меня кровь холодная, а сердце горячее, — отвечала она. — Скоро придет любовь, скоро и уйдет; я хочу, чтоб она долго, долго длилась!

Вот какова она! Вот школа терпенья, друг мой! Посуди ты сам! Прощай!

Твой Н—с.

Р. С. Сейчас вернулся от нее. Я в восторге! Я решился поцеловать ее насильно... и не раз, а сто, тысячу раз. Она слегка сопротивлялась. Я думал: кончено! скажет она: «Так-то вы уважаете меня. Идите вон». Ничуть не бывало! Лицо ее горело; но сама она была на вид покойна; села на диван, взяла работу и спросила: «Вы в Афинах никогда не бывали?»

Я даже не ответил ей на это и вне себя от радости ушел домой. Вот она какая!

Июнь.

Поздравь, поздравь меня, мой друг, она меня любит, она моя! Даже холодность ее, и та

восхищает меня! Когда я осыпаю ее ласками, она молча смотрит на меня, так тихо, как будто хочет сказать: «Что с тобой? Это так просто и в порядке вещей!»

Когда, на рассвете, я пробирался от нее домой по садам и видел еще спящее очаровательное селенье наше, дальний город и море, и зелень, — мне пришла непростительная для грека мысль... Я думал: «О! пусть хоть век царствуют над нами турки, лишь бы все греки были счастливы как я!»

Прощай и не жди писем долго.

Июнь.

Все хорошо. Но глаз коршуна все внимательнее и внимательнее следит за нами.

Уже Ревекка жаловалась мне на замечания злой старухи. Она грозит написать сыну и звать его сюда. Сам банкир предобрый старичок и не алчный; и Ревекку любит, и меня; но боится коршуна. Я сумел понравиться ему, он живал когда-то в Константинополе и любит хвалиться своими связями и тем, что не раз в белых перчатках ездил на посольские балы.

— С тех пор, — говорил он, — я и стал благородный. В Константинополе такой обычай: кто бывает у посланников, тот благородный.

Того банкира, который доставал ему билеты на балы, он зовет «благодетель».

На этой-то струне его сердца я и постараюсь чаще играть, чтобы привлечь его на нашу сторону; Ревекка делает то же.

Недавно она спросила у него при мне (но без старухи) позволение связать мне кiset.

— Везде делают для знакомых работы. Вы, я знаю, человек образованный, позвольте; но я боюсь свекрови.

— А ты ей не показывай, — сказал, смеясь, старик. — Наши старые женщины ослы; политического обращения не имеют. Сами говорить не умеют и думают, что как сел мужчина около женщины да посмеялся, так значит дурное что-нибудь и задумал. — Потом с беспокойством прибавил: — Ты смотри, Ревекка! Не показывай ей ничего, знаешь... Порода их вся пресердитая! Отец ее даже с турками ссоры заводил...

— А вы бы не спускали ей, — сказал я.

— Не могу, — отвечал старик, — сердца нет

у меня! Всегда, поверь мне, Йоргаки, я был боязлив. Вот и шишка на лбу; это от страха у меня вскочила. Один паша велел схватить меня и в тюрьму посадить. Как схватили меня кавассы и с лестницы вниз побежали со мной... с тех пор и стала шишка расти!

При таком свекре можно, конечно, и с коршуном помириться. Прощай.

Июль.

Проклятая старуха настояла на своем: Ревекку увезли в город и не пускают даже к родным. Вот уже месяц, как я ее не видал. На прощанье она мне сказала: «Лучше потерпим немного; кто захочет, найдет средство видаться. Не сердди старуху, не ходи к нам часто; рассердится — и в Англию меня отправит».

Брожу я теперь, как тень. Скука, жар, безделье, лень. Розенцвейг тоже задумчив. Почти не говорит. Не знаю, чем все это кончится. Хоть бы ты чаще отвечал мне. Право, нестерпимая тоска! Южный ветер глаза жжет; вчера были три такие сильные подземные удара, что стена наша треснула. Когда бы землетрясение! Все лучше тоски.

23-го июля.

Мне было так скучно, так тяжело, с тех пор как Ревекку увезли родные в город и заперли на три ключа, что не было охоты писать даже к тебе. Но вчера случилось в нашем тесном кругу такое важное событие, что я не могу не сообщить его тебе. Розенцвейг посватался за мою сестру.

Вот как это было. Нас с ним пригласили франки на пикник в Серсепилью, в очаровательный сад Шекир-бея. Нам показалось неловко отказаться. Да и консул гнал нас туда и сердился, что мы неохотно отправляемся. Музыка была хороша, фонтаны журчали, птички кротко пели, цветники роскошно пестрели, краше восточных ковров. Я сначала танцевал, потом удалился в беседку с Розенцвейгом.

Мы сели.

— Не ехать ли домой? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — неловко. Обидятся. А меня и без того уж они ненавидят...

Потом я сказал:

— Если бы в этом саду да с любимой жен-

щиной прожить хоть месяц.

Розенцвейг на это сначала ничего не отвечал, потом сказал:

— Я и в таком маленьком саду, как ваш, готов свековать с любимой женщиной... Возьмем, например, хоть вашу сестру. Насколько она в своей простоте лучше этих европейских сорок, с которыми вы сейчас так глупо носились в вихре вальса!..

— Что же, — я говорю, — особенного в моей сестре? Добрая, простая, правда, хорошенькая девочка, читать, писать кой-как умеет, песенки поет... вот и все!

Розенцвейг вспыхнул.

— Да когда ж люди поймут, что не все то изящно, что принято нами?.. От вашей сестры дышит весной... Она сама песня! Читать! Писать! Стыдитесь! Когда я вижу, как она проходит мимо наших окон с корзинкой за диким салатом и, нагибаясь, напевает песни, — я без ума от нее... Знаете, мне даже нравится, что коса ее светлее передних волос, потому что она носит ее всегда на солнце поверх повязки... Все мне в ней нравится. Когда она склонит немного голову набок и так томно ска-

жет: *малиста* (да, конечно), — это одно *малиста* может свести человека с ума! А вы разве не наблюдали, как она смотрит в небо, когда подает гостям варенье на подносе? Да где вам?

На то вы брат, чтобы ничего не видеть! Недаром вы и с нигилистом русским в переписке... Я отвечал ему на это, шутя:

— Женитесь, если она такая прелесть...

— Вы не шутите?

Что мне было делать? Я действительно пошутил, я никогда не думал, чтобы он решился на этот шаг.

Я сказал: «Как хотите: хотите, пусть будет шутка; а не хотите, пусть будет не шутка...» Розенцвейг взял меня за руку и сказал:

— Ну, спасибо! Так завтра передайте это и родным. Ушел из беседки и вскоре вовсе скрылся.

Я, право, не знаю, радоваться или нет? Завтра поговорю прежде с Хризо: что она скажет? Мне кажется, она должна счесть это за неслыханное счастье.

24-го июля.

Мне не удалось сразу передать сестре предложение Розенцвейга. Сегодня воскресенье, и она прямо от обедни ушла в гарем к Рустем-эффенди. Долго я ждал ее, от нетерпения ушел из дома и вернулся только к полудню. Хризо вернулась, и я застал ее перед зеркалом; она подходила и отходила от зеркала, поправляя новые золотые серьги с маленькими яхонтами. Я спросил:

— Что ты делаешь?

— Видишь, серьги новые смотрю; думаю, как бы сделать, чтобы лучше светились.

— Кто ж тебе их дал?

— Старшая сестра Хафуза: Рустем-эффенди тебе кланяется много.

— А что ж вы еще там в гареме делали?

— Сидели.

— Только сидели?

— Говорили. Зейнет, старшая сестра, говорит мне: когда бы ты, Хризо, мастику с водой мешала и лицо бы

этим каждое утро вытирала, ты бы еще лучше была; посмотри, как у тебя лоб будет блестеть!

— Нет, этого ты, Хризо, не делай, — заме-

тил я. — Жених твой тебе хороших духов из Константинополя выпишет. Ты уж ими вытирайся, а не мастикой...

Сестра вся вспыхнула и растерялась:

— Кто, — говорит, — мой жених? У меня нет жениха.

— Как, — говорю я. — нет? А русский секретарь?.. Ты разве не знаешь, что ты ему сердце сожгла любовью?

— Ба! — сказала сестра, — он уж не молод.

— Как не молод? Ему всего тридцать лет.

— Я думала больше. Такой слабый, худой! Ба! что за разговор!

— Да нет, — я говорю, — это не шутя... Ей-Богу, он просил меня сосватать его тебе. Чего ж ты хочешь? Человек молодой, православный, русский; будешь консульшей, большою дамой. Все жены франков притащатся к тебе с визитами...

Сестра слушала, слушала, все не верила и качала головой, и шептала: «чудное дело! Зачем бы этому быть!» Я опять стал настаивать, но она отвечала со слезами:

— Душка Йоргаки, я его не люблю и не хочу!

В этих слезах застала ее мать, вслед за матерью пришел и отец. Я сказал им в чем дело...

Отец, конечно, был очень польщен предложением Ро-зенцвейга; улыбаясь лукаво, ободрил сестру, как будто и сомнения не могло быть в ее согласии. Он думал, что сестра плачет от смущения и неожиданности.

— Нехорошо ты сделал, Йоргаки, что ей сказал прежде, чем нам с матерью. Вот она, глупенькая, испугалась. Или, может быть, в России мода такая? Если у таких знатных господ, как русские, так делают, пускай и мы по моде пойдем! Ну, Хризо! Смотри, как станешь ты мадамой, нам, простым людям, бал задай. Я сам с тобой такую смирниотику[2] обрабатую, что страх будет! Э! До каких пор стыдиться будешь?

— Я не стыжусь, — отвечала Хризо.

— Так что же молчишь?

— Я не хочу его.

— Что с тобой! — сказала мать. — Человек **тихий**, высокую должность имеет.

— И выше еще пойдет, — перебил отец.

— И выше пойдет, — сказала мать. — Бо-

лен он; да и то поправился, кажется, теперь...

— Не хочу, — отвечала Хризо. — Отчего?

— Не люблю.

Встала, опять заплакала и вышла. Мы переглянулись; пожал отец плечами; мать говорит:

— Вот будет нам стыд большой! Как же ему сказать?

— Постой, постой! — сказал отец. — Подумает два-три дня и поумнеет.

Но с Розенцвейгом ждать нельзя было и дня. Он требовал от меня «да» или «нет». Когда я рассказал ему искренно, как все было, он не удивился и как будто не огорчился ни-сколько; как сидел, погружившись в большое кресло, так и остался. Только вздохнул и сказал сухо:

— Я, по правде сказать, этого не ожидал.

— Кто ж этого мог ожидать, — отвечал я.

— А следовало ожидать, — продолжал Розенцвейг, — большая ей охота за чахоточного идти. Что она, «обмена идей», что ли, будет во мне искать? Она, поверьте, в кого-нибудь влюблена... И прекрасно делает.

Я ушел; он не пошевелился с кресла. Бед-

ный Розен-цвейг! Какая досада! Неужели она точно в кого-нибудь влюблена? Я до сих пор не замечал.

12-го августа.

Долго у нас было все по-прежнему. Я просил родных моих не говорить никому о том, что случилось, хотя и боюсь, чтоб отец мой, по живости характера и отчасти из тщеславия, не высказал кому-нибудь из приятелей свою досаду на дочь. Мне кажется, Рустем-эффенди уже знает об этом, потому что вчера встретил меня и, между прочим, лукаво спросил:

— А что, секретарь русский, как теперь, в своем здор-овье?

Я говорю: «лучше».

— Хороший, — говорит, — человек; аккуратный че-ловек; в срок все платит, что из ма-газина у меня берет. И смирный человек; русские — люди хорошие.

Слушая эти похвалы, я подумал «Никогда он ни о русских не говорил, ни о Розенцвейге не спрашивал. Не-даром это!»

Совестно было спросить у отца; однако ре-

шился. Отец оскорбился и божился, что он ни говорил никому. Мать очень осторожная; братья не знают ничего. Значит, са-ма Хризо похвалилась в гареме. Я хотел побранить ее, и пришлось как раз кстати. Иду домой, она из дверей Рус-тем-эффенди выходит.

Пришли домой; я говорю ей полушутя:

— Ты турчанкам, кажется, всю свою душу открыва-ешь. Боюсь, чтобы ты не потурчилась сама.

Как она вспыхнет, как начнет плакать и упрекать меня! я не знал, что и делать; насилу мать ее уговорила. Она тоже побожилась, что не говорила ничего.

Твой Н—с.

25-го августа.

Слава Богу, все как будто пришло в порядок. Я советовал родным не тревожить Хризо (сначала они ее упрекали), и с тех пор, как они ей ничего не говорят, она успокоилась, опять стала петь и меня опять зовет, склоняя головку набок: «Психй-му, Йоргаки!» (душка моя, Йоргаки). Розенцвейг тоже не показывает ничего. Сначала он не ходил к нам, а потом

опять начал ходить. Первый раз, когда он пришел, родители мои были смущены, а отец так совестился, так часто прикладывал руку к сердцу, кланялся и улыбался, что я удивился. Обыкновенно он держит себя с большим достоинством. Милый Розенцвейг так хорошо и шутиливо обошелся и с сестрой, что и она скоро привыкла к нему опять. Как будто ничего не бывало.

Итак, нового мало.

Впрочем, расскажу тебе, что я познакомился с одним купцом из Фессалии, который приехал сюда на короткое время по торговым делам. Презанимательный человек! Ему уже лет шестьдесят, но на вид больше сорока пяти не дашь. Огромные черные бакенбарды; высокий, полный; немного глухой; оратор пламенный, но человек претонкий и предобрый. Все, кто его знают, хвалят его доброту, щедрость, веселость. Любимый предмет его речей — «la haute politique». О чем бы ни говорили, он кончит тем, что спросит:

— А будем сегодня говорить о политике?

— Говорите, мы готовы слушать.

Тогда он встает, расправляет бакенбарды и

начинает сановито, внятно, медленно.

— ...Великая, православная Россия устами своей дальновидной дипломатии давно сказала: «Je me recueille». Мы тоже должны до того времени, пока ударит наш час, мы должны, говорю я, «nous recueillir». Запад достаточно доказал свое равнодушие к судьбам христиан! Англия доказала, что она не что иное, как первая мусульманская держава в мире! Франция ищет везде совратить нас в папство и лишить нас столь существенной черты нашей народности, как православие. Россия — великая, аристократическая, завоевательная нация...

Перебьешь его, скажешь, что Россия не аристократическая и не завоевательная нация, он кивнет головой, выслушает, погладит свои баки и опять начнет.

— ...Россия — нация великая, аристократическая, завоевательная; но русские не любят наук и искусств. Греки издревле к этому способны; в благодарность за все благодеяния России... (ибо даже и то, что мы видели от других, как, например, Наваринская битва или уступка Ионических островов были не след-

ствием естественной к нам симпатии, а только мерой необходимости, чтоб ослабить нашу естественную симпатию к русским)... Итак, греки, столь способные к торговле и мореплаванию, в благодарность за благодеяния России, должны не только помочь ей в цивилизации Азии, но и развить просвещение, любовь к наукам и искусствам в самой России!

Оспорить его нет сил! Я говорю ему: «Что с вами! Очень нужно России наше просветительное содействие!..» Он опять кивнет головой:

— Россия — нация высокого, аристократического образования, но...

Однако не только Россию, как силу, но и самих русских он очень любит и даже к слабостям их относится с особенною любовью...

Надо, например, его видеть, когда он представляет в лицах, как у русских будто бы два голоса и два тона. Один для низших званием: «Вон! такой-сякой!» и потом нежно и расставляя руки: «Катерина Ивановна! Пожалуйста! Не угодно ли вам чаю?»

Представит, захохочет и воскликнет в восторге:

— Ужасно люблю, когда у людей есть народный характер!

Меня он очень занимает; он так своеобразен, что я не могу его наслушаться. До следующей почты.

Твой Н—с.

15-го сентября.

Присутствие Дели-Петро меня оживило. И на что, в самом деле, мне жаловаться? В семье все утихло; я понемногу стал входить в торговые дела отца: исполняю его поручения, езжу в горы, в Рефимно, в Ираклион. Вернусь, спешу в город, ищу увидеться с Ревеккой. Наша любовь все такая же ровная, таинственная и нежная. Она так умна, благоразумна и тверда; так удачно устраивает наши свидания: служанку в дом взяла гречанку, и она, конечно, за нас. Она дает мне добрые советы: это она убедила меня попробовать счастья в торговле. Наши встречи, препятствия, с которыми мы боремся, придают нашей любви самый романический характер. Нередко я ночую в соседнем доме у приятеля и перепрыгиваю над бездной с террасы на ее балкон; а

чувства наши тихие, нетребовательные, как чувства двух верных супругов. Когда я горячусь, она только скажет по-турецки: «Яваш, яваш — эпси оладжак!» (Понемному, понемному все будет). И эти простые слова мне как бальзам на сердце!

Итак, друг мой, я успокоился, и писать почти нечего.

20 сентября.

Вчера еще утром хотел запечатать письмо; но вечером у нас с Дели-Петро был разговор, который не могу не передать тебе. Недавно он ездил в горный округ Сфакию, где, как уверял, у него родные. Мне показалось это подозрительным. Вчера я провожал его пешком от Халеппы до города и решился выпытать от него правду.

Я всю дорогу выпытывал у него: «будет ли что-нибудь?»

Долго он смеялся и шутил; наконец мы подошли к мосту, около которого, в бедных шалашах, живут под самыми стенами города полунагие сирийские арабы. Лагерь их спал, только один араб, завернувшись в бурнус и

скре-стя руки, стоял на мостике и глядел вдаль на море.

Дели-Петро остановился и указал на эти жалкие жилища.

— Все проходит, все рушится! — сказал он, — и эти люди были знамениты и просвещали мир... И мы снова пройдем; но мы, по крайней мере, пройдем уже в третий раз, что не случилось еще ни с кем другим...

— Но у нас, — сказал я, — еще не было полного третьего возрождения.

— Яваш, яваш! — сказал он, как Ревекка... Потом отвел меня дальше несколько шагов и шопотом,

но внятно, начал так:

— Еще в этой бороде у Дели-Петро не прибавится и десяти седых волос, когда в храме Св. Софии пропоют снова православные попы: Христос Воскресе!

— А пока...

— Recueillez-vous! Recueillez-vous!

Он засмеялся, сжал мне крепко руку и ушел в город. А я пошел домой. Странно было подумать, что эти мирные оливковые роци, где бродят ягнята, где слышатся только звуки

бубенчиков, обагрятся снова кровью, как бывало в давние времена!

22-го сентября.

Сейчас я вернулся от Розенцвейга. Он прислал звать меня как можно скорей. Как бы ты думал что он открыл, что подозревает? Он думает, что Хризо влюблена в Ха-фуза. Вот что он рассказал. Сегодня перед вечером он ехал узким переулком около нашего сада. Лошадь его испугалась срубленных алоэ, и он долго мучился, чтобы заставить ее обойти их. Когда он наконец поравнялся с нашею калиткой, она вдруг отворилась. Из нее вышел поспешно Хафуз, а кто-то изнутри так поспешно ее захлопнул, что ущемил рукав его бурки.

Хафуз рвался и краснел; Розенцвейг нарочно остановился и спросил у него, кто из наших дома.

Он сказал: «никого, одна маленькая работница!» Розенцвейг отъехал, не спуская глаз, и в это время на помощь Хафузу показалась из калитки рука... и он узнал эту маленькую руку!

Это меня как громом сразило! Это ужасное

несчастье!

Здесь нравы строги, но и страсти пламенны; здесь шутить нельзя... О! Это было бы страшным ударом и для меня, и для всей нашей семьи...

Розенцвейг, увидав мое отчаяние, уговаривал меня не спешить; не говорить ни сестре, ни отцу, ни матери, а лишь следить за Хризо и Хафузом, убедиться прежде — прав ли он в своем подозрении.

Он заметил очень верно, что в Крите и юноши и девушки довольно стыдливы перед чужими и что смущение Хафуза и то, что Хризо спряталась, можно объяснить одною стыдливостью.

О! если б это было так!

Прощай — не жди писем, пока я не успокоюсь.

Твой Н—с.

P. S. Он угадал. Она любит Хафуза; я все открыл!

Прощай.

10-го января 1866 года. Константинополь.

Друг мой! В то время, когда я начинаю это

письмо, знаешь ли, кто сидит у меня на диване, курит наргиле и напевает по-гречески наши критские песни?.. Знаешь ли, кто? Угадай... Мой брат — Хафуз, муж моей бедной сестры. Он пришел занять у меня денег. Когда он уйдет и я буду свободен, я напишу тебе все, как было, как я боролся до последнего часа... Но спасти ее я не мог — она турчанка и жена его!

Январь 11-го.

Теперь я один, и рассказ мой будет длинен. Сколько я перестрадал за это время и за себя, и за других — ты увидишь и постигнешь сам.

После разговора с Розенцвейгом я решился присматривать за сестрой. Случай помог мне. Через неделю, не более, отец и мать собрались ехать на праздник в горный монастырь. Сестра показывала вид, что тоже собирается. Но в то самое утро, когда уже все были готовы и ослы оседланы, она приняла печальный вид, повязалась белым платком и легла. Мать поверила, что у нее болит голова, и решилась оставить ее дома. Я вызвался пробыть с нею эти три дня. Хотя я и заметил, что она этому

не обрадовалась, но не показал виду.

Как только родители наши уехали, Хризо моя повеселела; «слава Богу, говорила она, мне стало легче», встала с постели, но по временам еще трогала голову рукой и жалобно вздыхала. Все ее хитрости были пренеловкие.

— Что ж мы будем делать? — сказал я. — Сегодня праздник. Если тебе лучше — давай веселиться. Не послать ли за Хафузом?

Хризо несколько смутилась, однако отвечала:

— Как хочешь. Только вели ему флейту принести. Он так хорошо играет: сестра его старшая, Зейнет, иногда слушает-слушает его и скажет: ах, пропади ты, Хафуз! как ты играешь сладко!

«Ну! — думаю себе, — и ты, однако, хитрая; но я еще хитрее тебя. И я грек недаром!»

Послали девочку-работницу за Хафузом. Он пришел тотчас, разодетый, так и горит и радостью, и молодостью, и красотой. Посмотрел я на него и подумал: «худо дело!»

Хризо подала ему сама варенье и кофе на лучшем нашем подносе; держала поднос перед ним и смотрела «в небо», как будто ничего

между ними нет. Когда он взял кофе, Хризо поклонилась и сказала: «на здоровье». А он приложил руку к сердцу и к феске и не прервал со мной беседы.

Итак, все как следует: ни смущенья, ни неуместной радости. Я пригласил Хафуза завтракать с нами и велел вынести стол в сад. Сестра хотела служить нам сама, но я ее уговорил сесть лучше с нами. Она села; но все время беспокоилась, вставала, опять садилась, учила девочку, угощала Хафуза так мило и так искренно, что я поуспокоился.

После обеда Хафуз пел и играл на флейте. Сестра смеялась и напомнила ему слова Зейнет. Он тоже смеялся. Потом пришла молодая арабка Сайда, вольноотпущенная раба, у которой еще видны на шее знаки ран от побоев; веселая, почти безумная в веселости, она свистала, кричала и трещала языком, как лягушка вечером в воде кричит.

При ней стало еще веселее: Хафуз играл, Сайда плясала, шевелила спиной, стоя долго на месте, щелкала пальцами... Мы с сестрой смеялись.

Потом все четверо мы стали хором петь

нашу греческую марсельезу:

О! мой длинный, острый меч...

И ты горное ружье мое, огневая птица,

Вы убиваете турка,

Уничтожаете тирана...

Лафуз не первый из критских турок, который поет, смеясь, эту песню... Что они чувствуют при этом, не знаю. Быть может, музыка им нравится...

Сайда опять рассмешила нас; прервала пение и сказала:

— Хафуз-ага, когда турок будем бить, я тебя не трону, а своего мужа убью.

— А что, — спросил Хафуз, — ревнив верно, бьет тебя?

— Ба! бить ему меня! Он меньше меня ростом...

— Так за что же?

— Вот за то, что короткий такой; я хочу мужа пали-кара, как ты, такого..

И защелкала опять языком, встала и простилась:

— Пойду, — говорит, — домой; будет мой короткий сердиться, что запоздала...

— А, боишься? — сказал Хафуз. — Так я на-

рочно с тобой вместе пойду. Может быть, муж нас увидит и прибьет тебя.

— Если так, так à la Francka пойдём вместе, Хафуз-ага! — схватила его под руку и пошла с ним через сад до калитки.

— Adieu, mademoiselle! — сказала она нам у калитки и подала мне руку. Потом обратилась к Хафузу: — подай Хризо à la Francka руку.

Хафуз, немного краснея, протянул руку. Хризо, опять нимало не смутясь, пожала ему руку.

Тогда мне пришла мысль... Я сказал сестре так, что Хафуз слышал:

— Я в русское консульство уйду на целый вечер; а ты бы пошла на вечер к соседке...

Хризо отвечала, что посидит дома. Когда калитка заперлась за нашими гостями, она позвала служанку нашу и сказала ей:

— А ты, моя девочка, не скучай дома; походи с детьми на дорогу погуляй...

Я увидал, что моя хитрость удалась. Как только стемнело немного, я с величайшей осторожностью пробрался чрез задние тропинки и засел в глубокую рытвину, которая входит со стороны в наш сад. На краю ее, у

стенки нашей, выросла большая смоковница; я сидел под ней и думал:

— Другой дороги Хафузу к нам нет! Я его увижу, а он не увидит меня.

Не просидел я и пяти минут, как Хафуз пришел и стал у нашей стенки.

Постоял, осмотрелся и начал тихонько на-свистывать песню.

Хризо тотчас же вышла, и, облокотясь оба на ограду, они стали разговаривать.

— Видела ходжу? — спросил Хафуз.

— Видела.

— Что он говорил тебе?

— Много говорил. Хорошие слова все сказал. Говорил: «видишь, мы добрее христиан: христиане нашего пророка не почитают, а мы Иисуса почитаем. И Он был великий пророк».

— Хорошо, — сказал Хафуз. — А еще что он сказал?

— Сказал, м!р на четырех столбах; один столб золотой — ваш ислам, второй серебряный столб — наша христианская вера, третий медный столб — вера еврейская, а свинцовый столб — франкская вера. У франков книг нет священных, так он сказал...

— И это хорошо сказал, — заметил Хафуз. — Другое дело, вы, христиане, другое дело франки.

После этого оба постояли молча.

— Не боишься? — спросил потом Хафуз.

— Боюсь, — сказала сестра.

— Не надо бояться. Отец мой согласился. Знаешь, как он жалеет меня, что ни захочу — все сделает. Посмотри, какой я тебе гаремлык отделаю! Что за шолковые диваны будут! В Константинополе куплю. Фередже и яш-мак будешь на дворе носить: а дома — что хочешь; хочешь атласные шальвары; хочешь франкское платье...

— Что ты прикажешь — то я буду носить, — отвечала сестра. — Я буду тебя всегда слушаться. Когда ты будешь сердитый и закричишь на меня, я скажу: «Не гневись, господин мой», и поцелую твою руку и ко лбу прижму ее, как турчанки делают... Вот так...

Потом она вздохнула, помолчала и спросила:

— Ты верхом когда же ездил, что твои руки кожей пахнут?..

Дальше я не мог вытерпеть и вышел из за-

сады. Хафуз вынул нож.

— Стой, Хафуз, ножа не надо! — сказал я и взял его руку. — Ступай домой и образумься! Ступай скорей, пока не увидали люди.

Хафуз ушел; сестра упала на землю и закрылась руками. Я поднял ее и увел в дом. Она бросилась мне в ноги и просила не говорить ни слова отцу и матери, клялась, что оставит Хафуза, обещала, если я хочу, пойти в монастырь; предлагала запереть ее на ключ до приезда отца... Она до того рыдала и клялась и просила меня, что я обещал ей

молчать до тех пор, пока другой раз не замечу, запретил ей ходить в гарем Рустема-эффенди, и так как после этого нам вместе оставаться было тяжело, то я ушел к Розенцвейгу и рассказал ему все. Он сказал:

— Она права. Я бы на ее месте сделал то же. Хафуз — прелесть!

— Так, по вашему мнению, надо им дать свободу?

— О! нет. Вы не имеете права на это, — отвечал он. — Вы обязаны ревниво охранять ваше собственное положение в крае. Терпимость уронит вас. К тому же твердые верова-

ния ваших родных не фанатизм, а только сила: безверие — болезнь и слабость, а не сила...

— Правда, — сказал я, — но как тяжело мне!

— На то жизнь и зовется жизнью, чтобы кипела борьба, — отвечал Розенцвейг. — Вот я не борюсь — и не живу.

Пока мы придумывали, какие взять меры, прибежала наша служанка и сказала в ужасе, что Хризо похитили из дома, и никто не знает, где она; никто не видел ее ни на дороге, ни на улице.

Посуди сам, что я чувствовал! Отлагаю рассказ до завтра.

12-го января 1866 г. Константинополь.

Когда сразила меня эта весть, я ничего лучшего не нашел, как пойти прямо к Русте-му-эффенди. Он скрыл, что уже знает о побеге сестры с его сыном и сказал с большим достоинством:

— Дитя мое! Я твоему отцу старый друг и не стану подучать дочь его огорчать родителей. Ты мой нрав знаешь. Что Хафуз твою сестру любит, и она его, я сам узнал недавно. В доме моем их нет, поверь мне. Я бы ее тот-

час же к отцу воротил. Арабы, сын мой, люди тоже умные, и они говорят: «Дитя, которое любит и веселит своего отца,

прекраснее ветра пустыни, напоенного благоуханиями!» Посмотрим, не увез ли он ее в Серсепилью, а в городе ворота уже заперты.

Он велел сейчас же оседлать себе мула, и мы вместе поехали в Серсепилью. Войдя в свой дом, Рустем-эффен-ди грозно спросил сторожа; но сторож клялся, что Хафуз не приехал и никто не был. С фонарем мы осмотрели все углы дома и пустой гаремлык. Не было никого. Я сказал:

— Останемся здесь ночевать и утром поедем в город и к паше.

— Оставайся, — сказал Рустем-эффенди, — а я уеду. К паше, сам ты знаешь, мне не следует идти жаловаться, что гречанка хочет ислам принять. И сына я тиранить не стану; вам другое дело; не он веру меняет, а девушка!

Велел постлать мне постель и уехал.

Спать я не мог и не больше как чрез час, среди ночи, воротился в Халеппу.

Мне все казалось, что она в самой Халеппе

спрятана. Дома я достучаться не мог, потому что дом был пуст и девочка от страха ушла на ночь к соседке. Я перелез через ограду с большими усилиями и лошадь заставил перепрыгнуть через нее и до рассвета просидел на террасе. Едва только зажглась заря, я пошел будить соседей и расспрашивать. Никто не знал, никто не видал, но все были в волнении; некоторые из женщин плакали; мужчины брались повывломать двери всех гаремов в Халеппе и осмотреть. Но я успокоил их и советовал не подвергать себя бесполезно мщению турок. И сколько же было гаремов? всего пять: Рустема-эффенди, одного чиновника, одного старого ходжи и еще двух-трех беев. Я больше всех подозревал ходжу; но нельзя же было ломать его дверь, не зная правды! За что же пострадают мои товарищи без нужды? И все наши поиски в Халеппе были бы напрасны. Как я узнал уже после — Хризо с Хафузом были в ту ночь в Серсепилье, но у другого бея, в загородном доме; а на рассвете, пока сердце мое раздиралось от неизвестности

и горя, пока я бродил озябший по террасе в

Халеппе, — они вместе пробрались в город, в гарем другого турка.

Я собрался в город; как вдруг мне пришли сказать, что дядя Яни узнал о побеге сестры и что он задумал, должно быть, что-то худое; спрятал пистолет в складки пояса и пошел пешком в Канею. Я послал к Розенцвейгу просить, чтобы кавасс погнался за дядей и позвал его в консульство, а сам тотчас кинулся за дядей вслед.

Догнал его на полдороге и остановил его.

— Куда?

— Сестру твою, псицу распутную, убить...

— У нее есть отец и братья... бейте ваших дочерей.

— Мои дочери не распутные... Пусти. Не ее, так его убью..

Прибежал кавасс; дядя спросил:

— Что нужно от меня русскому консулу? Я не русский, я райя; я консула не знаю.

— Просит вас, — отвечал кавасс. Дядя послушался, и Розенцвейг усовестил его. .

Я поехал в город. В городе турки смелее, а греки боязливее; турок там гораздо больше. Один из них прямо мне сказал:

— Твоя сестра у Лигунис-бея в доме.

Я пошел туда, но бея не было дома, и я отправился в *конак* паши. Паша, сказали, с утра уехал в Суду.

— А меджлис?

— Сегодня пятница, нет меджлиса!

В отчаянии я поскакал опять в Халепшу, чтобы посоветоваться с Розенцвейгом или с кем-нибудь из наших соседи.

Едва только я из города, — вижу, едет мне навстречу сам паша в золоченой карете, кругом бегут человек десять арнаутов. Как только поравнялся он со мной, сейчас махнул рукой, велел остановиться и поманил меня.

Я, чтобы польстить ему, спрыгнул с лошади и подбежал к дверце.

Паша рассыпался в любезностях, подал мне руку из окошка и сказал по-французски:

— Я уже знаю, *mon cher m-r Yorgaki*, о деле вашей сестры. Я даже видел ее. Вы можете быть уверены, что я не допущу никакой несправедливости. Я терпеть не могу этих обращений, от них нам только хлопоты, больше ничего. Но вы знаете — духовенство везде одно. *Une fois que les femmes et les prêtres s'en*

mêlent, il n'y a pas de force qui y tienne.

Я просил его пощадить старые годы отца и матери и наших и не оставлять сестры в руках мусульманского духовенства.

Он обещал еще раз и прибавил, смеясь, на прощанье:

— Il faut avouer cependant que ce diable de Hafouz n'a pas mauvais goût! Elle est charmante votre soeur!..

Любезность эта, это радушие ободрили меня, и я веселый вернулся домой. Соседи, которым я говорил, немного, однако, надежды возлагали на пашу и твердили:

— Не верь, Йоргаки, нынче турки хитрее нас стали! К вечеру приехали и наши из монастыря. Что тут

было — сам поймешь, я писать не стану. Мать вынесла горе тверже отца, она не отчаявалась в том, что еще можно будет освободить сестру. Отец же был в ужасном отчаянии: он плакал, бил себя в грудь. Хотел бежать прямо в русское, а оттуда в греческое консульство и просить помощи. Но священник наш остановил его и сказал:

— Разве не знаешь пашу? Проси его сам,

быть может, сделает, а пойдешь к консулам, — лишь ожесточится; не ходи, райя, к чужой власти. Завтра подите с Йоргаки в меджлис. Христос и Матерь Божия, быть может, благословят вас на счастливое окончание!

На другой день мы рано с отцом пришли в конак. Сени уже были полны народа: просители, обвинители, свидетели, женщины, и наши, и турчанки, и еврейки, и арабы, носильщики масляных курдюков, оборванные, полунагие, все в масле, вооруженные арнауты — сидели, стояли и лежали в ожидании меджлиса и паши. Нас впустили в комнату секретаря. Долго мы ждали, наконец позвали и нас.

Паша сидел в кресле с чубуком. Это был уже не вчерашний любезный человек! Гордо ответил он нам на поклоны и не сразу предложил сесть... Но отца, который было бросился поцеловать его полу, он остановил благосклонным движением руки.

В комнате сидели, кроме паши, еще несколько беев, двое наших представителей, епископ, молла и муфти. Только у этих трех духовных сановников были чубуки, остальные курили папиросы.

Молчали: я принуждал себя сидеть и глядеть почтительно.

Наконец паша спросил моего отца:

— Ну, что вы подельваете?

— Кланяюсь вашему превосходительству, нашему паше-господину.

— Et vous, m-r Yorgaki, vous allez bien aussi, j'espère?

— Parfaitement bien, excellence..

— Послать за вашей дочерью? — спросил паша. Отец встал и поклонился.

Паша ударил в ладоши и велел своему драгоману привести сестру.

Хризо пришла с родною теткой Хафуза, матерью Лигунис-бея, у которого жила в гареме. На ней было новое розовое атласное фередже и покрывало на лице.

Вслед за ними притащился согбенный старик Феим-эффенди, дряхлый дервиш из секты ревущих, которые к христианам, по учению своему, благосклоннее других магометан. Я его встречал в Халеппе и догадался, что это именно он, а не кто другой проповедовал сестре о столбах золотых и свинцовых. Он старик смирный и полусонный, но и в его

глазах есть искра плутовства.

Паша предложил жене бея и сестре сесть. Дервиш мой тоже приютился около них.

— Тебя как зовут? — спросил паша сестру мою.

— Фатьме, — отвечала она.

— Нет, скажи твое христианское имя...

— Хризо.

— Хорошо, Хризо. Ты дочь Кир-Николаки из Халеппы?

— У меня теперь нет ни отца, ни матери. Ваше превосходительство мой отец, и я прошу вас много и много защитить меня и позволить мне остаться в той вере, которую я приняла...

Отец мой встал и дал волю своему гневу. Он укорял сестру, просил, клял ее, он спрашивал ее, наконец, чем недовольна она у него в доме, кто ее обидел и кто ее не любил и не жалел?

Сестра была тронута, она расправила свой вуаль и, оборотясь к отцу, бледная, дрожащим голосом сказала: «Простите мне, батюшка, я ни в чем вас не виню. Я добротой вашей много довольна, и матерью и братьями до-

вольна, и худа ни от кого не видала. Только я желаю потурчиться».

Отец в отчаянии разорвал на себе жилет. Турки молча курили.

Епископ наш наконец решился заметить вполголоса, что «закон требует, чтобы желающий переменить веру был отдан своему духовному начальству на три дня для увещаний».

— Закона этого нет, — отвечал сухо паша, — но во внимание к почтенному характеру семьи господина Николаки я исполню этот обычай...

— Если сама девушка будет согласна, — заметил молла.

Паша ответил ему что-то по-турецки и обратился к сестре:

— Хочешь к епископу на три дня?

— Нет, я к епископу не желаю, — я желаю оттоманскую веру принять..

Тогда решился и я вмешаться; я видел, что отец убит и растерян от стыда и горя.

— Разве ты, Хризо, боишься, что мы тебя мучить будем? ни преосвященный, ни мы, кроме доброго слова, ничего тебе не скажем.

Мы тебя и в Халеппу не будем

просить, ты три дня пробудешь в митрополии: приедет мать, и я буду там. Если ты от тех, кто тебя кормил и воспитывал, кроме доброго ничего не видала, надо же и пожалеть их. Если ты в своей новой вере тверда, так нечего тебе и бояться. Я думаю и сам молла-эффенди плохой мусульманки не твердой не желает... Подумай же, пожалей всех нас, а через три дня пусть будет по твоей воле... Сестра плакала, качая головой.

— Надо пойти, — повторил я.

— Так я пойду, — сказала наконец сестра, вставая.

— Мы не принуждаем ее, — заметил сурово молла, — не надо и вам принуждать ее.

Муфти, человек светский, в зеленой чалме и в очках, только что из Стамбула, сказал, смеясь:

— Лишь бы на сердце было у нее хорошо, — а сколько нужно на земле правоверных и гяуров, это знает Бог!

Паша поморщился (я думаю, от неосторожного слова «гяур») и сказал сестре:

— Идите же, Хризо, на три дня; через три

дня вы нам дадите здесь ответ. Деспот-эффенди, извольте взять ее...

Молла с негодованием отвернулся, и лицо его выразило столько зверства, что я не вынес его взгляда и опустил глаза.

Так мы взяли Хризо на три дня к епископу. В митрополии Хризо сначала совсем растерялась, лгала, клеветала на себя, опять оправдывалась, просила прощения; то падала на колени передо мной и говорила мне: «Йоргаки! пожалей меня!» То говорила наедине матери: «мать моя, свет мой! Радость ты моя! Очи ты мои! Пропала я, душа ты моя, матушка! Я девушка бесчестная! оставь меня! Я любовница его. Я давно потеряла честь мою!» То опять бросалась к ней и, сложив руки, умоляла ее не верить прежним словам: «Это я тебе солгала вчера! не верь, я не бесчестная. Он зла никакого не сделал».

Епископа сестра слушала со вниманием и почтением, вздыхала, когда он говорил ей о тяжком грехе и о вечной муке, призывала привычные с детства святые имена...

Я между тем зашел к Ревекке, и она опять дала мне добрый совет. Когда я рассказывал

ей подробно обо всем, что случилось, она очень сострадала, но не мне и родным нашим, а двум бедным любовникам.

— Лучше бы ты оставил их; от тебя дело много зависит. И чем вера турок не хороша? И у патриархов было много жен, и Богу одному, невидимому, они молятся. И разве не жалко тебе сестры? Пускай тайком убегут вместе в Константинополь; если хочешь, и я помогу им; а ты только не препятствуй.

Я сказал ей, что это невозможно. Однако ей хотелось облегчить мое горе, и она, подумав, сказала:

— Если ж ты их хочешь развести непременно, сделай вот какую хитрость: обещай ей, что ты Хафуза обратишь в христианство, только с тем, чтоб она вернулась домой и не мучила отца и мать. Она успокоится; потом ушлите ее поскорей гостить в Афины или в Константинополь, если у вас есть там родные. Там она его забудет легче!

Я расцеловал ее руки и сделал все так, как она говорила.

— Слушай, Хризо, — сказал я. — Хафуз мне друг, ты знаешь. Потерпи месяц, вернись до-

мой; вот тебе слово, мы его окрестим. Разве прошлого года не окрестился у нас в Халеппе ночью турок? А потом, чтобы ему худа здесь не было, мы вам денег дадим и уйдем отсюда!

Хризо, услышав это, согласилась и на другой день в меджлисе отреклась от исламизма. Мне показалось, что паша был недоволен; он очень сухо и гордо простился с нами и не дал мне руки.

С торжеством увели мы Хризо в Халеппу. Епископ назначил ей по сту земных поклонов в день и дал ей книжку с молитвами; она прилежно читала, никуда не выходила, даже и в сад, и стыдилась показываться чужим.

Что за праздник был в семье — изобразить трудно. Лица веселые, соседи радуются; отец, которому я рассказал о моей хитрости, хвалил меня всем и говорил: «Без Йоргаки мы было все пропали!» Дядя Яни всегда молчит, но и тот разверз свои уста:

— Политический человек, просвещенный! — сказал он про меня и выпил за мое здоровье раки.

На другой же день после того как сестра

объявила в медресе свое решение остаться христианкой, нас с отцом оскорбили на улице. Сначала два солдата стали нарочно на узком повороте и толкнули нас. Мы смолчали. Потом трое сирийских дервишей встретились нам на базаре и остановились перед нами. Смуглые лица их были свирепы; на включенных, курчавых головах не было ни фески, ни чалмы; полунагие тела их были покрыты шкурами, и один из них нес на плече тяжелую секиру; с ними шел знакомый мне Фазиль-бей, поэт из Дамаска.

Я любил его за его вежливость, за величавые приемы и за благородство, которым дышала вся его особа. Он часто беседовал со мной и хотел учить меня по-персидски.

— Если вы хотите узнать великую сладость, то изучите язык персидский; это язык истинных поэтов; а турецкий язык — язык военный, — говорил он мне не раз.

Я поклонился ему, но Фазиль-бей глядел на меня насмешливо, драпируясь в свою длинную мантию. Дервиши загородили нам дорогу. Отец попросил их дать нам пройти; они не слушали его; сотни глаз глядели на нашу

встречу. Я схватил одного дервиша за грудь. Тогда двое других осыпали меня ругательствами. Они кричали в исступлении: «Московская собака! Разве мы, гяур, боимся тебя?» Грозилась кулаками и секирой. Отец кротко уговаривал их, а поэт отстранил их величаво, как бы довольный уже и тем, что мы оскорблены и унижены.

Оружия при нас не было, и мы должны были отступить.

Основываясь на том, что я русский подданный, я хотел жаловаться паше чрез консула, но отец мой, боясь мщениа, упросил меня оставить дело так, благо главная наша цель достигнута.

Недели три у нас в доме все шло хорошо; сестра кончила свою эпитимью, сама стала заниматься домашними работами; говорила с нами, пропела уж раз и песню по-старому. Но раз (мы сидели с ней на террасе, она шила, я читал) подошел к ней серый котенок, которого подарил ей Хафуз и которого мы вовсе забыли — и стал ласкаться.

Хризо схватила котенка и вскрикнула:

— Кошечка, моя кошечка хорошая! Душу

мою вырвать из меня ты пришла!

И рыдая, упала ниц.

После этого мы решились отправить ее в Константинополь; она не противилась, и я, надеясь лучше других развлечь и утешить ее, взялся сам везти ее. Ей сшили два новые шолковые платья; зная слабость наших к модным вещам, я обещал ей купить в Константинополе такую шляпку, какие сами посланницы носят. Она во всем слушалась меня, казалось, с удовольствием. Взяли мы с собой еще одну старушку, у которой в Константинополе был сын, и уехали на рассвете. Погода стояла теплая, море было гладко, и к вечеру мы уже были в Сире. Я повел ее гулять, показывал церкви; водил в Верхнюю Сиру, угощал мороженым. В церкви она помолилась усердно и поставила свечку, одной бедной женщине подавала милостыню; шоколату попросила другую порцию, смеялась иногда.

«Слава Богу!» — думал я и благословил мою умную, хитрую Ревекку.

Из Сиры мы выехали утром на пароходе Ллойда. Капитан был очень ловкий и любезный человек, он окружал сестру вниманием с

первой минуты нашего появления на пароходе. Я посоветовал сестре не стыдиться и быть свободною и разговорчивою как дома, и она послушалась меня, отвечала просто и мило капитану и сама его забавно расспрашивала:

— Есть у вас жена? — говорила она. — Где она?

— В Триесте, — отвечал капитан.

— Ба! — воскликнула Хризо, — и вы все так, без нее? И она без вас! Это очень неприятно!

Около полудня из кают первого класса вышел некто Хамид-паша; он ехал откуда-то чрез Сиру в Константинополь, недели две тому назад заболел, остался в Сире и теперь только тронулся снова в путь.

На нашего критского пашу он не был похож: толстый, седой, простой и молчаливый... все курил чубук и беспрестанно подзывал к себе армянина, юношу-красавца, который с поклонами и, казалось мне, с притворною робостью прислуживал ему. Паша его звал не иначе, как «дитя мое!»

Накурился паша, наелся и повеселел. Любовался на море и со мной заговорил.

— Это ваша фамилия (т. е. жена)? — спросил он, указывая пальцем на сестру.

Я отвечал, что это сестра моя, подозвал Хризо и пригласил ее сесть с нами.

Паша обратился к ней чрез драгомана с гордою благосклонностью.

— В первый раз в Стамбул едете?

— В первый раз.

— Аллах! Увидите там много хорошего! Все эти моды для кокон! И наш старый Стамбул посмотрите. Мечеть султан-Ахмета с шестью минаретами и Аи-София, которой равной в свете нет...

«Добряк этот паша!» — думал я, слушая его. Но к вечеру узнал от одного из наших спутников, что он долго был губернатором в Азии и отставлен за грабеж и тайные пытки, которыми подвергал христиан. Он зимой приказывал обливать их холодной водой и держал их по целым неделям в узких и длинных шкапах, где нельзя было ни лечь, ни сесть, ни спать. Один из служителей его, чтобы выведать истину, исколол одному пастуху все ноги раскаленными щипчиками, которыми берут уголья для чубуков и сигар.

После этого рассказа добродушие Хамида стало для меня ненавистнее лукавой вежливости нашего паши. Каковы же должны быть растление и ложь этой политической развалины, которую зовут Турцией, если даже такой добрый (наверное, добрый) по природе старик, и тот является извергом и грабителем народа! С этими мыслями лег я спать. Я думал о сирийских дервишах, которые изругали меня, о заптие, которые меня толкнули, о страшных днях Вели-паша, когда запертые в стенах Канеи христиане искали прибежища в консульствах, а турки влачили по улицам труп удушенного грека[3], и сердце мое дрогнуло за родину мою, и за родных, и за себя!

Сон мой пропал; пароход входил уже в Мраморное море, волна становилась сильнее, и я чувствовал себя дурно. Так мучился я почти до ночи. Уж было темно, когда мы подъехали к Золотому Рогу, и нас не впустили.

Я был рад тишине и стал засыпать, как вдруг ко мне в комнату постучался слуга и сказал, что сестра моя так громко плачет, что все спутницы ее испугались.

Встал я, спросил сквозь двери дамской

комнаты: «что с ней"», она отвечала: «Теперь я уж перестала плакать, это я, когда волна плескалась, испугалась и о матери вспомнила». Встало солнца, все проснулись, и Хризо вышла без слез, но печальная. Я взял ее вещи и ждал, пока паша сойдет со всею своею челядью в шлюпку.

Поравнялся с нами паша. Вдруг Хризо падает ему в ноги, хватает его полу и говорит:

— Паша-эффендим! Возьмите меня с собой! Я вас прошу! Возьмите меня в гарем ваш! Я хочу потурчиться, а родные не дают мне воли!

Паша с радостью просил ее встать и, обратясь ко мне, отечески сказал:

— Видишь, сын мой, я ей отказать не могу.

Все пассажиры, вся прислуга столпились около нас. Чубукчи паши хотели взять вещи сестры из моих рук. Я оттолкнул одного, схватил за ворот другого и кричал, что я русский подданный и чтобы сестры моей никто касаться не смел.

Паша сказал мне:

— Ты, сын мой, может быть, точно русский подданный, но сестра твоя райя, и я возьму

ее. Султан, господин наш, даровал всем свободу веру менять. Не тебе же, сын мой, противиться воле султана.

Капитан вмешался и предложил мне продолжать спор на берегу, а на судне его не начинать бесчинства. Я вынужден был уступить, и сестра сошла в шлюпку паши. Я отдал ее вещи и видел, как заботливо армянин помогал ей войти в шлюпку, видел, как сам паша посадил ее около себя на особом ковре, тогда как даже драгоман его сидел далеко и почитательно.

Я спустился в другую шлюпку, и скоро какик паши исчез за большими судами. Мне слышалось только, будто сестра закричала: «Прощай, Йоргаки, прощай жизнь моя! Не сердись на меня несчастную!» Говорю: мне слышалось, потому что я был как убитый и даже на гребцов стыдился смотреть.

Когда я остался один в гостинице, раздраженное самолюбие мое строило тысячи планов; я хотел просить помощи у русского посольства, хотел собрать каких-нибудь бродяг, кефалонитов и албанцев, отыскать дом Хамид-паши, подкараулить сестру и похитить ее,

или самого пашу схватить ночью и угрозами заставить его выдать Хризо.

Наконец я успокоился. Мне казалось, я сделал все, что мог, и никто из родных не имеет права меня упрекать. Насиловать более волю и чувства сестры было свыше сил моих.

Я написал письмо отцу и решился ждать ответ.

Прождал две недели. Раз утром приходят ко мне два наши кандиота и говорят:

— Много поклонов вам, г. Йоргаки, от отца и матери. Письма не прислали; а как мы сюда ехали по делам, то отец ваш и приказал вам сказать, что дело вашей сестры очень огорчило его и вашу мать, и всех родных, и всех критских наших. Все на вас надеялись и были покойны. И еще велели сказать: думали мы, что Йоргаки мужчина, как следует; а теперь мать ваша вторую неделю не ест хлеба и слова не говорит, и не плачет; все через вас...

— Что ж мне было делать? — спросил я.

— Это ваше дело, — отвечали мне. — Может, вы и хорошо сделали; вы человек с воспитанием и лучше нашего и свет, и закон знаете. Мы вам говорим, что ваши родители

велели сказать. Дядя Яни ваш плюнул, когда слушал ваше письмо, и говорит про вас. «Если б Йоргаки был мужчина, он бы должен был и пашу в воду сбросить, и сестру убить, и людей всех. А там уже какая была его судьба, пусть Бог знает».

Слова эти меня так оскорбили и огорчили, что решил не возвращаться в Крит. Связь порвана! Я уже не надежда их, я не молодец, я не краса Халеппы, я не эллин! Бог с ними, если так! Я проживу и без них...

Вот уже более двух недель как Хафуз приехал сюда и женился на моей сестре. Они скоро возвратятся в Крит и будут жить в городе, пока это дело не забудется и опасность для них минует.

По праву брата, я посещаю ее, даю ей денег и дарю вещи... Душа моя ожесточена, и на днях, когда один из тех кандиотов, которые принесли мне проклятия и насмешки родных, зашел ко мне, я, назло ему и всем, рассказал, как идет к сестре восточная одежда, и какой Хафуз добрый муж, и сколько я заплатил за наргиле, который на днях подарил ему.

Дело сделано! Она ему жена, и я им брат

навек!

С родными я решился порвать все связи. Не виню и понимаю их; но я не виноват, что они не могут понять меня. Прощай!

Константинополь, марта 29-го 1866 года.

Я давно не писал тебе, я был слишком развлечен и занят. Я определился (на время, конечно) в контору к одному богатому греку. Он дает мне около ста рублей в

месяц. Часто бываю в русском посольстве у секретарей; греческий посланник обещает мне должность при греческом консульстве. Здесь меня все принимают прекрасно. Ваши секретари все немного злоязычны, но зато как умны и образованны! Самое злословие их свежо и полно соли. Вижу изредка и французов, но им далеко до ваших.

Сознаюсь тебе, я полюбил Константинополь; все мне нравится здесь: и Босфор, и смесь пышности с грязью, и туманные, дождливые дни, когда все дальние улицы так пусты и задумчивы, а в тесной Пере так толпится, спешит и торгует народ.

Одного мне здесь недостает: я не могу за-

быть Ревекку; я написал ей письмо, очень осторожное и полное темных намеков. Я узнал, что старуха умерла. Теперь ей будет свободнее. Когда бы хоть раз увидеть ее!

21-го апреля 1866 года»

Поздравь меня! Поздравь меня!

Она здесь, мой друг! Вчера я встретил ее под руку с мужем. Когда бы видел ты, какую нежною царицей шла она. Она сама мне поклонилась и познакомила с мужем. Он пригласил бывать у них чаще. Старуха своею смертью спасла нас, не успела открыть глаза сыну.

Сейчас иду к ним. После припишу, что будет хорошего.

Мужа не было дома. Они остаются в Константинополе навсегда.

Я так счастлив!

20-го июня.

Два месяца я тебе не писал. Дела мои идут прекрасно. Я поступил на службу в греческое консульство, пока без жалованья, но это только начало, и работы мало. Негоцианта моего

также не оставляю. Грустно, что родные мне не

пишут вовсе, но я от других узнаю, что они все здоровы. Что ж делать; нельзя, чтобы все было хорошо, ты сам это знаешь!

Твой Н—с.

30-го июня.

Здесь начинают говорить, что в Крите будет восстание.

Битва при Садовой поразила всех. Непостижим иногда для меня политический такт наших греков! Простой работник, и тот понимает, что события в самой Америке не пройдут без влияния на судьбу нашего народа! Отовсюду гордый народ ждет знака для движения... Вчерашний вор и тот с восторгом жертвует для родины у брата же грека наворованные деньги!

Купец, тупой, скупой и скучный, спешит раскрыть свои сундуки, мать не жалеет сына, жена шлет молодого мужа на войну!

Так было уже раз, так будет снова, когда ударит час. Но неужели этот час так близок?.. Неужели буря близка? Не верю, но я желал бы

верить и вспоминаю часто пламенные речи хаджи-Петро...

Посмотрим!

Твой Н—с.

2-го июля.

Я не могу оставаться здесь долее... Я должен ехать туда. Чем бы ни кончилось волнение умов, — я должен быть там, куда зовет меня все родное. Я сказал сегодня Ревекке, что уеду в Крит и пойду в охотники, если будет война. В первый раз я увидел ее в волнении. Она побледнела и спросила:

— Ты шутишь?

Я сам был взволнован, не отвечал ей ни слова и ушел домой.

Вчера Ревекка утром прислала мне записку и звала прийти скорей, пока мужа нет дома.

— Я не спала всю ночь, — сказала она мне. — Я тебя люблю. Если хочешь, я окрещусь и оставлю мужа. Только не уезжай отсюда.

Она подвела меня к комоду и вынула оттуда кучу бриллиантов.

— Это все мое, — сказала она. — Дом этот также мой. Есть у меня и деньги. Все это будет твое. Ты можешь служить на русской или греческой службе: будешь консулом, будешь, быть может, посланником. Ты мне говорил, что я создана для света. Не знаю, быть может, любовь тебя ослепила; но я знаю одно, что я никогда не заставлю тебя краснеть за себя. Вот мои последние слова! — прибавила она, краснея, и заплакала.

Я просил ее дать мне обдумать хоть два дня.

Вот уже третий день, друг мой, и я решил-ся ехать... Никто из родных моих не знает, какую сокровенную жертву принесу я родине! Ты один ее узнаешь и поймешь.

Твой Н—с.

Халеппа, 30-го июля 1866 года.

Итак, друг мой, я опять в семье; в той же семье, в том же доме, — в Халеппе нашей. Те же добрые соседи наши, те же красавцы юноши, те же старики почтенные, те же девушки милые. Так же, как и два года тому назад, плещет море наше в берега; все зелено; цикады

оглушают меня пением своим. Но в воздухе нечто иное, нечто высшее... Гроза близка... Представители наших восставших округов разошлись. Они ждут ответа от султана. Уже тысячи критян под оружием. Третьего дня мой старший брат поклонился отцу и матери, прося благословить его... Когда бы ты видел наших критян, друг мой! Брат не плакал; не плакали и мы... Казалось, не на смерть, а на пышный брак отпускали его!

Прощай. Увидимся ли мы когда-нибудь?
Август.

Ты уже знаешь все, весть разнеслась повсюду, и оружие грянуло в наших горах... Прочти! о, прочти ты благородное воззвание к державам, которое, готовясь к ужасам битв, обнародовали мы! Ты увидишь, каков наш грек в бою... О, родина моя... Когда бы ты видел наших юношей... Когда бы ты видел, как я видел на днях двух братьев-отроков, вскормленных нашим священником. Прекрасные как ангелы, эти два мальчика-сироты пели в нашей скромной церкви. Им еще нет 17 лет, а они уже приняли благословение духовного

отца своего и надели оружие... Сегодня мы простились с ними!

Август.

Кровь наша льется, но недаром! Турки бегут везде... Вчера была битва на горах у Проснеро. Я видел издали, как бежали турки, я видел дым ружей в кустах, видел, как наши львами ворвались в турецкий лагерь.

Утром я встал вне себя и ходил по террасе. Отец ехал в город. Я сказал ему, что не могу больше сносить мое позорное бездействие.

— Подожди, Йоргаки, в горах тяжело непривычному: настанут скоро холода, и северный ветер будет дуть, и снег будет падать. Оставайтесь при нас с матерью. Ты человек не боевой.

Не скажи отец последних слов, я бы остался, мне кажется. Но в этих словах я прочел ужасный укор, хуже которого нет для мужчины. Я вспомнил сестру, вспомнил

стыд свой... И едва уехал отец, я пошел к одному молодому соседу-столяру, который только что женился на богатой красавице из Рефимно. Я знал, что он задумал расстаться с женой и бежать в горы. Мы условились. Зав-

тра нас не будет в Халеппе. Прощай, быть может, навсегда!..

Один Розенцвейг будет знать о моем намерении. Родные пусть узнают, когда моя рука уже обагрится вражь-ею кровью! Пусть скажут: «Мы ошиблись в Йоргаки, он наш».

Еще два последние слова. С Розенцвейгом мы простились. Он уже не встает с постели, дни его сочтены.

— Вот моя битва, вот моя кровь, — сказал он, показывая мне окровавленный платок. — Вам, — продолжал он, — вам дай Бог жить долго и украсить вашу деятельность освобожденную отчизну. Я говорю вам: вы будете свободны... Но, если моя молитва может быть услышана, я молю Бога об одном, молю, чтоб Он сохранил вашу родину и после освобождения в той изящной и величавой простоте, в которой Он сподобил нас с вами еще застать ее! Когда бы не рак европеизма...

Он не кончил, махнул рукой, и мы простились.

Твой Н—с.

Сфакия, сентябрь.

Пишу тебе карандашом, на изломанном столе. Пароход наш «Аркадий» свезет его в Афины.

Мной все довольны здесь: я выношу ходьбу по камням лучше многих. Уже на долю моего ружья пало пятеро врагов; я еще не ранен. Зимвракаки думает уже поручить мне небольшой отряд. Дядя Яни, и тот уже помирился со мной.

— Э! — говорит он, — Йоргаки! Когда ты капитаном будешь, я под твое начальство пойду. Не послушаюсь,хвати меня по голове кулаком, как следует, либо рукоятью ножа. А я поклонюсь тебе и скажу: «простите, господин капитан! Молодым для науки!»

Он заботится обо мне; ночью снимает с себя бурку и накрывает меня; из пищи что есть лучшего, мне несет; смеется; шутит. Здесь он стал веселее, говорливее, но все так же неумолим и грозен.

Двоюродный брат мой, его сын, лет семнадцати, не более, едва покинул школу, — как поступил в другой отряд. Там он служил не более месяца, устал, заболел и остался жить и отдыхать в одной деревне. Узнал об этом дядя

и послал ему сказать: «Встань, негодяй, и будь здоров! А если не встанешь и не возьмешь оружия, приду я сам к тебе и палкой так по тебе поиграю, что вся охота болеть пройдет!»

Брат встал и пошел в отряд.

Мы готовимся к большому сражению. Мы победим, — и если бы только вы, наши братья русские, не забыли нас... то мы будем свободны!..

Иногда с горем гляжу на наши пока еще цветущие долины, на наши белые деревеньки в зелени маслин...

Я знаю турок. Цветущие долины, веселые селения будут опустошены, и камня на камне не останется в них. Уже мало-помалу просыпается в них старинное зверство; уж гибнут в отдаленных жилищах беззащитные старики, и дети подвергаются поруганию...

Пусть так! меч вынут, мы не вложим его в ножны; мы погибнем все или будем свободны!

Пусть гибнут наши села, пусть гибнем мы, раны освобожденной родины моей заживут снова... Лишь на пажитях, упитанных кровью и слезами, растут и зреют те высокие духов-

ные плоды, без которых жизнь народов была бы презренной жизнью робкого стада. Прощай, меня зовут!

Я верю, что буду жив, и письмо это не будет последним.

Твой Н—с.

Октябрь, Сфакия.

Два слова, друг мой! Холод становится нестерпим. Одеты мы, ты знаешь, не по-русски. Битва при Вафе проиграна. Наших было 500 человек. Турок пять тысяч. Мано, один из лучших наших афинских вождей, ранен и взят в плен; слышно, что турки хотят расстрелять его. Женщины наши и дети толпами бегут из сел к берегам ждать русских судов, на которых их хотят везти в Афины и Сиру. Я видел их. Это уже не те почтенные, опрятные старушки, не те милые, нарядные критские девушки, о которых я писал тебе когда-то... Теперь все взоры, все мысли этой толпы, изможденной усталостью, нуждой и страхом, приковали их к морю. И что за восторг, что за безумие, когда покажется ваш флаг!

Матери бросают детей своих в шлюпку,

другие сами от нетерпения кидаются в воду с утесов.

Я сам до того исхудал, до того измучен и слаб, что даже дядя Яни советует мне ехать на отдых в Афины.

Мой молодой сосед, с которым мы вместе ночью ушли в горы, не мог более вынести этой жизни. Он положил оружие, поклонился туркам и вернулся к своей новобрачной. Я так не сделаю.

Январь 1867 года. Афины.

Не думай, что я не сдержал слова. Только сильная рана в ноге заставила меня уехать. Теперь я в нашей больнице пишу тебе у окна. Погода дивная; я вижу отсюда море и дальние суда. Комната полна раненых; но все весело шумят и смеются. Сейчас только вышел от нас наш молодой король. С каким восторгом отвечали мы на его привет. Он особенно внимательно и благосклонно разговаривал через переводчика с одним черногорцем, который приехал в Крит делить наши судьбы и при первой схватке был опасно ранен. Теперь ему лучше.

Ах! друг мой, с тех пор как я карандашом писал тебе из гор, сколько перемен!

Хафуз убит моим грозным дядей; бедная Хризо моя погибла в родах, услышав эту весть. Розенцвейга нет уже; его похоронили в нашей опустелой Халеппе за два дня до моего отъезда сюда. Здесь только на отдыхе я чувствую жалость и утрату. О Розенцвейге я уже знал; но о гибели Хафуза и Хризо я услышал весть в тяжкую минуту, когда сердце мое было закрыто для всего!

Незадолго до этой ужасной вести я был ранен; я был бы убит, если бы дядя Яни не спас меня. Пуля попала мне в ногу, и я упал в кустах. Наши отступали; я силился встать; в эту минуту передо мной из-за камня вырос турецкий солдат. Он бросился ко мне; последним усилием я вырвал из рук его ружье и бросил вниз с горы; сабли при нем не было; он ударил меня пустыми ножнами по голове и стал мне ногами на грудь.

Он был силен, а я истекал кровью.

— Барба-Яни! — закричал я. — Спаси меня! Где ты?

— Здесь я! — закричал дядя и зверем ри-

нулся на турка. Долго боролись они, попирая меня ногами; турок старался вырвать пистолет из рук дяди. Тогда и я, собрав последние силы, вынул свой из-за пояса и убил турка. Дядя встал всклокоченный и бледный; схватил меня на плечи; велел рукой прижимать рану и кинулся со мной по скалам. Скоро замолкли выстрелы; мы отдохнули; собрались все наши, и дядя сам перевязал мне рану.

Мы остались ночевать в покинутом селении; развели огонь. К вечеру привели пленных турок и в их числе Хафуза, который поступил в турецкое ополчение.

К чему буду я тебе рассказывать, как рвалось сердце мое от жалости, когда я его увидел. Руки Хафуза были скручены крепко назад. Я ослабил ему веревки. Он поднял на меня глаза с благодарностью и попросил пить. Я подал ему вина.

Все наши угрюмо молчали. Больше всех боялся я дяди. И не напрасно! Пришел он, обвел глазами пленных турок и спросил: «Сколько их всех?» — «Пятеро».

— Собаки, собаки! — сказал он и ушел посоветоваться с другими старшими.

Хафуз дрожал. Другие турки сидели молча, вздыхали и искоса взглядывали на нас.

Все они, кроме Хафуза, были настоящие османли и по-гречески не знали. Они попросили через него табаку. Я велел им дать и развязал всем им руки. Оружия у них не было, и бежать им было некуда.

Тем временем дядя вышел с другими капитанами; я с ужасом думал о том, что с нами на этот раз не было ни одного из афинских офицеров.

Дядя вышел, постоял, посмотрел, сбил феску набекрень, хотел сказать что-то смешное... вдруг лицо его исказилось бешенством: он узнал Хафуза. Не говоря ни слова, взялся он за пистолет... Хафуз глядел на него, бледный и покорный, и дрожал.

— Нет, дядя Яни, ты не сделаешь этого, — сказал я. Дядя взвел курок.

Я знал его; слова с ним бесполезны; и я... и я решился на безумный шаг, я взвел курок на него, на моего спасителя!..

— Бей, бей, — сказал он, — бей дядю! Товарищи нас розняли и вырвали у нас из рук оружие.

О, конечно! Я не хотел стрелять в него, я знал, что нас разнимут... Но и угроза была ужасное дело! На шум сбежались старики.

— Нехорошо сделал ты, Йоргаки, — сказал мне один из них, — что на дядю и капитана руку поднял, и грех тебе это великий. А и тебе, капитан Яни, не след убивать пленных. Пусть не говорят, что критяне варвары!

— Кто их, собак, трогает, других пленных, — отвечал дядя, — пусть, пусть сами издохнут, когда их час придет! А вот этого молодца... что семью нашу стыдом покрыл!.. Его вы мне дайте... Если служил я родине, если христиане вы, если Яни капитан для вас, а не пес вонючий, не препятствуйте мне, говорю я вам!

— Конечно, — сказал старик, — стыд вашей семье велик. Да не Хафуза судить на смерть надо. Он паликар,

человек молодой, ищет потешить себя, где найдет. Виновата твоя племянница; ее присуди на смерть; а пленного не убивай, я тебе это говорю!

— Хорошо говорит старик, — заметили другие капитаны, — мы люди хотя и простые,

а тоже должны знать политику. Довольно франки нас варварами звали!

Хафуза отдали мне, и с дядей меня помирили. Я поклялся ему, что не хотел стрелять в него, а только желал удержать его, пока сбегутся капитаны; и это было правда.

Я увел бедного Хафуза в пустой домик; там мы развели огонь в очаге и поужинали вместе.

Краска вернулась на лице Хафуза. Я спрашивал его о сестре: узнал от него, что она беременна.

— Любишь ты ее крепко? — спросил я его.

— Что за спрос? — отвечал он, краснея, — она жена мне!

Мы заснули поздно, как братья, вместе — под одною большою буркой.

На другой день я отправил его с двумя нашими верными молодцами к Зимвракаки и просил рассказать ему все. К вечеру они вернулись и сказали, чтоб я был покоен.

Рана моя, однако, становилась хуже. Я уже почти не мог ходить и решился ехать в Афины на вашей «Тамани». С трудом достиг я того места, где уже ждали русских пароходов сот-

ни женщин, детей и больных мужчин. Трое суток мы ждали. Море было бурное, и турки старались препятствовать увозу семейств, как только могли; они знали, что, избавляя греков от бремени семейств, русские облегчают душу и руки восставшим отцам, мужьям и братьям.

Незадолго до моего прибытия к берегу подошел турецкий пароход; он выкинул русский флаг, и когда толпа ринулась со скал к морю, он дал по ней залп картечью, избил несколько десятков старух и детей и удалился.

Я сам видел их обезображенные и еще не погребенные тела.

Долго мы ждали; уже настала ночь, на горе падал снег; холод был нестерпимый; мы боялись раскладывать костры

на виду и жались за скалами. Я сидел у небольшой груды угляев и дрожал, укрывшись буркой. Сон и голод терзали меня; рана болела все сильнее.

Я дремал под башлыком, сидя на камне, и жизнь, казалось мне, сама жизнь уже покидает меня!

Слышу, кто-то зовет меня. Подходят трое наших молодцов; принесли водки, сыру, хлеба, дали мне и стали между собой шутить и смеяться.

Вдруг один сказал:

— Э! Йоргаки! Забыл я тебе сказать: Хафуза убил капитан Яни; отыскал его и убил. А сестра твоя, бедная, выкинула и умерла, как узнала об этом...

Другой добавил:

— Не так ты это говоришь! Хризо как узнала, что Хафуз в плену, послала мать просить к себе. Мать пришла и сказала ей: «Вернись в христианство, я отца верхом в город пошлю, пусть спасает его, а ты свою душу спаси и навек потом покинь его». Хризо сказала: «Пусть будет жив только, а я его брошу». Поклялась на Евангелии и образ Божьей Матери целовала, что оставит его и в христианство обратится. И повез ее отец с собой вместе в горы просить за Хафуза. Запоздали; а капитан Яни и убил его. Узнала Хризо на дороге, упала и кровью изошла!

Я слушал, друг мой, все, но голод и боль, и утомление были так ужасны, что сердце мое

внимало этим ужасам как камень, и пища была для меня в тот миг драгоценнее всех священных уз!..

Лишь теперь, здесь, в этом городе, полном жизни, отваги и восторга, — здесь, отдохнув, я вспомнил сердцем все: и Розенцвейга, и Хафуза, и деревню нашу, и ласковый голос моей сестры, когда она говорила мне, склоня голову: «Душка моя, Йоргаки!»

Где они? Где наш семейный мир?

Но прочь от меня, любовь и состраданье! Я снова силен и здоров; снова душа моя кипит, и снова слышу я голос чести, зовущий меня туда, где льется наша кровь.

Примечания

Датируется 1864-1868 гг. Впервые: Русский Вестник. 1868. Т. LXXVI. № 7. С. 24-80. Здесь по: ПССиП, Т.3., СПб., 2001. С. 25-87.

[^^^]

2

Смирнотика — смирнский танец.

[^^^]

См. «Хамид и Маноли».

[^^^]